

8(c)P

B 29

8(С)Р

5454

В-29 ВЕНГЕРОВ, С. А.

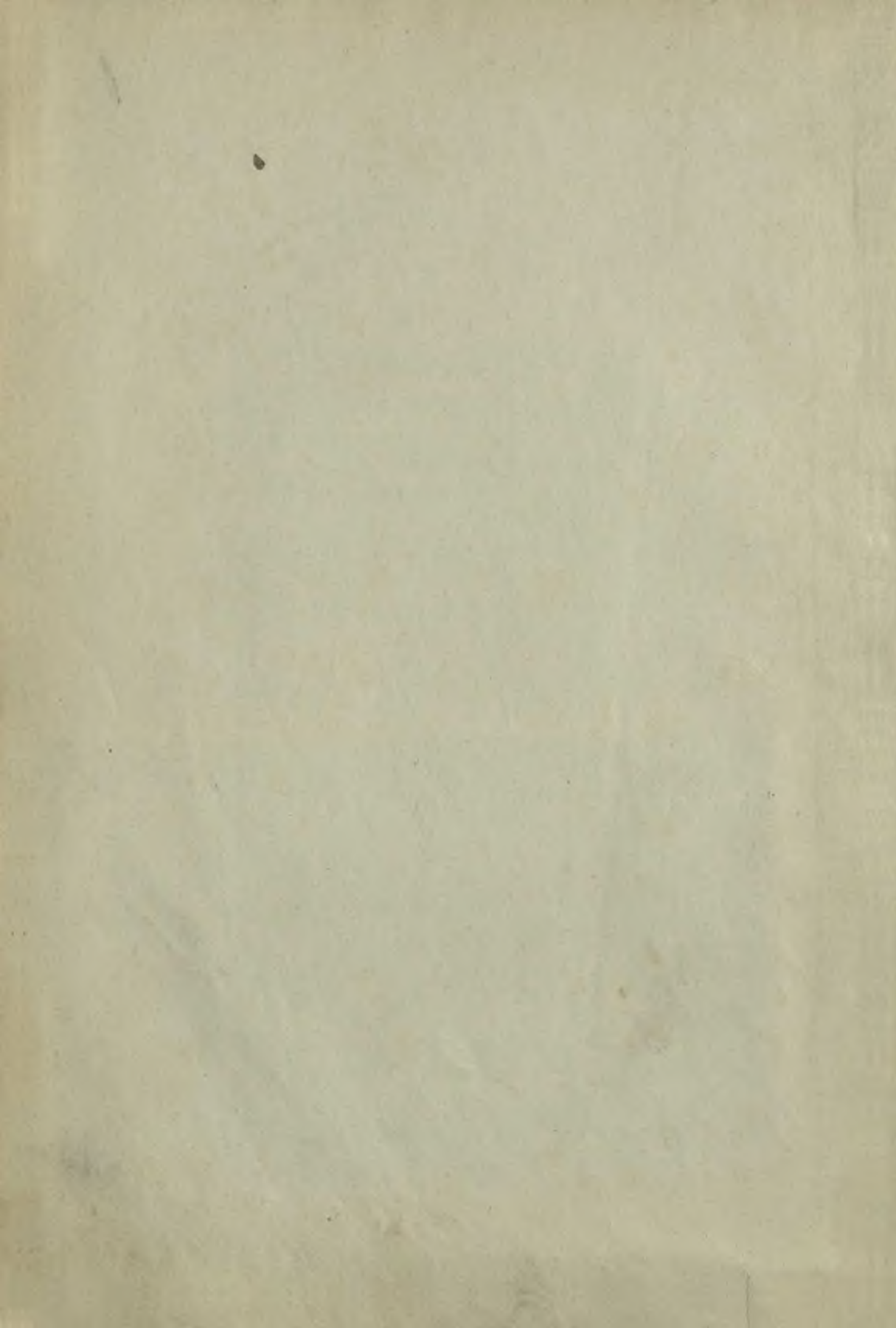
ГЕРОИЧЕСКИЙ ХАРАК-
ТЕР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5454

Ц.К.В. 1799

894
B. 29





к. 81
IV

81
8131

Собрание сочинений **С. А. Венгерова.**

С. А. Бернгольц

1998 г.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
С. А. ВЕНГЕРОВА.

891
B-29

Т. I.

8/9/р.
B29

ГЕРОИЧЕСКІЙ ХАРАКТЕРЪ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

✓ V ✓
5454
0

КАМЫШЛОВСКАЯ
РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
№ 248

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Книгоиздательство „ПРОМЕТЕЙ“
Поварской, 10.
1911.

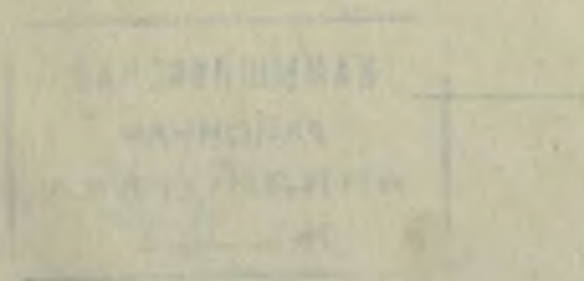
СОСТАВЛЕНО СОВМЕЩЕНІИ

У. А. ВЕНЕЦОВА

У. А.

ТЕОРИЯ ХАРАКТЕРОВ

РАССКАЗЫ



Типо-литографія „Энергія“. Спб., Загородный, 17.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Отъ автора	9— 14
Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы.	15— 56
Побѣдители или побѣжденные	57— 98
Героическій характеръ русской литературы	99—205

Содержаніе.

I.

Основные черты исторіи новѣйшей русской литературы.

§ 1. Міровое значеніе новѣйшей русской литературы. — § 2. Контрастъ между богатствомъ русской литературы и недавней бѣдностью русской общественной жизни. — § 3. Мы крейсиремъ теперь у береговъ свободы. — § 4. Русская литература всегда была каеедрой, съ которой раздавалось учительное слово. — § 5. Учительный характеръ русской литературы XVIII в. и начала XIX-го. — § 6. Основной задачей литературы Пушкинъ считаетъ возбужденіе «чувствъ добрыхъ». — § 7. Лермонтовъ и Гоголь рисуютъ себя писателя только въ образѣ негодующаго пророка. — § 8. Начиная съ 1840-хъ годовъ, всякій замѣтный писатель становится въ то же время общественнымъ вождемъ. — § 9. Литературныя произведенія оцѣниваются русской критикой, главнымъ образомъ, съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго «направленія». — § 10. Левъ Толстой считаетъ «чистое» искусство пустою и вредною забавою. — § 11. Аморализмъ и аподитизмъ возникающаго въ 1880-хъ годахъ декадентства. — § 12. Освободительное движеніе возвращаетъ «новыя теченія» въ русло обществнности. — § 13. Литературный монизмъ. Увлеченіе модернистовъ вопросами философіи и критики. — § 14. Сравнительная неподвижность русской литературной формы. Установленіе связи съ общественностью, какъ главная задача исторіи новѣйшей русской литературы. — § 15. Тенденціозность и претвореніе. — § 16. Отражайте вѣрно временное, вѣчное придетъ само собою. — § 17. Періоды исторіи новѣйшей русской литературы должны быть устанавливаемы соответственно теоретическимъ лозунгамъ каждой эпохи. — § 18. Духовная красота Бѣлинскаго, какъ лозунгъ всей послѣдующей литературы. Завѣщанная имъ борьба за правду.

II.

Побѣдители или побѣжденные.

§ 19. Модернизмъ синтетическій. — § 20. Реакціонный періодъ декадентства. Кризисъ декадентства подъ влияніемъ уснѣховъ освободительнаго движенія. — § 21. Новыя религіозныя исканія и религія добра. — § 22. Синтезь новаго стиля и старыхъ завѣтовъ русской литературы въ творчествѣ Чехова, Горькаго и Леонида Андреева. — § 23. Поворотъ къ жизни у Брюсова и Бальмонта. Страдальческія настроенія у Сологуба. Религіозный анархизмъ Мережковскаго. — § 24. *Schöne Seelen*. — § 25. Психологическія отличія второго поколѣнія модернистовъ. — § 26. Живъ призывъ къ подвигу.

III.

Героический характер русской литературы.

§ 27. Перенесение теории борьбы классов в историю русской литературы.—§ 28. Разговор с Лавровым. Маркс о характере и результатах русских общественно-политических движений.—§ 29. Жажда подвига сообщает героический характер новейшей русской литературы. В этом источник ее обаяния.—§ 30. Классовый отпечаток и классовая борьба.—§ 31. Писатели дворяне, разрушающие социологическое оправдание своего класса.—§ 32. Чувство не эволюционирует. Религиозный характер русского общественного движения.—§ 33. Религиозность, как мирозерцание и религиозность, как темперамент.—§ 34. Стремление к подвигу в кружке Станкевича и Бѣлинскаго. Клятва на Воробьевых горах.—§ 35. «Филантропическія» идеи второй половины сороковых годов.—§ 36. Плещеевское «Вперед! Безъ страха и сомнѣнья, на подвигъ доблестный, друзья», как исторический документ.—§ 37. Русская литература, начиная съ 40-х годов, перестаетъ улыбаться и вся уходитъ въ поиски смысла жизни.—§ 38. Иди къ униженнымъ, иди къ обиженнымъ.—§ 39. Мнимый утилитаризмъ 60-х годов.—§ 40. «Критически-мыслящая личность» по учению Лаврова.—§ 41. Энтузіазмъ народничества 70-х годов.—§ 42. Мужичья беллетристика. Литературное схимничество Глѣба Успенскаго.—§ 43.—Гаршинскій «Красный цѣтокъ», как символъ стремленій 70-х годовъ уничтожить зло мира.—Настроенія другихъ представителей литературнаго поколѣнія 70-х годов.—§ 44. Гуманизмъ Короленки.—§ 45. Надсонъ съ завистью смотритъ на «вѣнецъ терновый». Для Якубовича-Мельшина «спокойное счастье преступно».—§ 46. Чтеніе средней публики 70-х годов.—§ 47. Вліяніе героическаго подъема 70-х годовъ на творчество великихъ писателей 40-х годов.—§ 48. Достоевскій не пріемлетъ мира, доколѣ онъ зиждется на неправдѣ.—§ 49. „Великая Совѣсть“ Толстого объединила все человѣчество—§ 50. Уныніе 80-х годовъ и творческая тоска Чехова.—§ 51. Русскій марксизмъ въ психологической основѣ своей однороденъ съ кающимся дворянством.—§ 52. Эволюція модернизма.—§ 53. Походъ «Вѣхъ» противъ интеллигенціи.—§ 54. По существу стремленіе «Вѣхъ» поставить проблему усовершенствованія личности не есть-ли возвратъ къ «критически-мыслящей личности» Лаврова?—§ 55. Трагизмъ жизни въ пониманіи русскомъ и западно-европейскомъ. Великая печаль литературы русской.

Отъ автора.

Эвклидъ

Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry

Washington, D. C., August 10, 1910

Dear Sir:

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 7th inst. in relation to the matter mentioned therein.

Very truly yours,

W. A. HENNING

Chief, Bureau of Plant Industry

Enclosed for you are the reports of the Bureau of Plant Industry in relation to the matter mentioned in your letter of the 7th inst.

Very truly yours,

W. A. HENNING

Въ предпринятое книгоиздательствомъ „Прометей“ собраніе моихъ сочиненій входятъ историко-литературные, критическіе и историческіе изслѣдованія и этюды, напечатанные въ разныхъ журналахъ, сборникахъ, словаряхъ, а также появившіеся отдѣльно.

Нѣкоторыя изъ этихъ работъ перепечатаются съ небольшими измѣненіями, другія значительно расширены.

Томы настоящаго собранія не выходятъ въ послѣдовательномъ порядкѣ. Такъ, одновременно съ I томомъ, посвященнымъ статьямъ общаго характера, появляется т. V, заключающій въ себѣ критико-біографическіе этюды о Дружининѣ и Писемскомъ и литературный портретъ Гончарова.

Въ ближайшемъ будущемъ появится т. III, въ который войдетъ монографія о „Передовомъ бойцѣ славянофильства“ — Константинѣ Аксаковѣ.

II-ой томъ посвященъ Гоголю („Писатель-гражданинъ“), IV—Бѣлинскому („Великое Сердце“).

Въ дальнѣйшихъ томахъ будутъ напечатаны: „Общій очеркъ новѣйшей русской литературы“ (въ значительно переработанномъ видѣ), монографія о реакціи 1848-55 гг. этюды о Тургеневѣ, Толстомъ, Некрасовѣ, критикахъ-соціологахъ, писателяхъ 60-хъ гг., литературномъ поколѣніи 70-хъ годовъ, писателяхъ-модернистахъ, Чеховѣ, Горькомъ, Андреевѣ и др. Отдѣльно будутъ сгруппированы замѣтки о Пушкинѣ, статьи о старыхъ русскихъ писателяхъ, о протопопѣ Аввакумѣ и другихъ расколоучителяхъ. Войдутъ также изслѣдованія о народныхъ движеніяхъ славянскихъ племенъ: о богомилахъ, гусситахъ и таборитахъ.

* * *

I томъ, какъ сейчасъ было указано, посвященъ статьямъ общаго характера. Въ него входятъ три этюда, въ которыхъ я обосновываю свою точку зрѣнія на ходъ и развитіе новой и новѣйшей литературы русской.

Первый этюдъ—„Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы“ представляет собою вступительную лекцію, читанную въ 1897 г. въ петербургскомъ университетѣ. Она была напечатана уже 5 разъ ¹⁾ почти безъ измѣненій. Здѣсь-же она, по существу тоже ни въ чемъ не измѣненная, дополнена нѣкоторыми §§ (§ 6—„Основной задачей литературы Пушкинъ считаетъ возбужденіе *чувствъ добрыхъ*“; § 15—„Тендеціозность и претвореніе“; § 16—„Отражайте вѣрно временное, вѣчное придетъ само собой и др.“).

Второй этюдъ „Побѣжденные или побѣдители“ перепечатывается въ томъ-же видѣ, въ какомъ появился два года тому назадъ.

Что касается третьяго этюда—„Героическій характеръ русской литературы“, по заглавію котораго названа и вся книга, то значительнѣйшая часть его появляется здѣсь впервые.

* * *

Всѣ три этюда связаны между собою однимъ и тѣмъ-же стремленіемъ указать, что задачи нравственныя въ русскомъ литературномъ сознаніи всегда стояли на первомъ планѣ. Никогда не замыкаясь въ тѣсномъ кругу эстетическихъ интересовъ, русская литература всегда была каедрой, съ которой раздавалось учительное слово. И это не только не шло въ ущербъ непосредственно-литературному совершенству, а, напротивъ того, сообщало русскому художественному слову особенную проникновенность. Новая русская литература представляет собою высоко - гармоничное сочетаніе художественной красоты и нравственной силы, широкаго размаха и тоски по идеалу.

И звало всегда учительное слово русской литературы къ подвигу общественному и къ самопожертвованію. Русская литература отвергаетъ міръ доколѣ онъ осно-

¹⁾ Первый разъ въ „Вѣсти. Европы“ 1898 г. (№ 3), затѣмъ отдѣльной брошюрой въ 1899 г. (Спб.; тогда-же появился нѣмецкій переводъ Pech'a, Berlin, Stuhrsche Buchhandlung 1899). Въ 1907 г. „Основныя черты“ дважды были напечатаны въ 2 изданіяхъ моихъ „Очерковъ по исторіи рус. литературы“ (Спб.). Въ 1909 г. (Спб.) вышло 2-ое изданіе брошюры, дополненное этюдомъ „Побѣжденные или побѣдители“, который вошелъ и въ настоящій томъ.

ванъ на несправедливости и ни въ какомъ видѣ не прие-
летъ благополучія мѣщанскаго. Въ этомъ источникъ ея
обаянія, въ этомъ законнѣйшая гордость русскаго духа. Увы,
еще не стало анахронизмомъ знаменитое изреченіе славяно-
фила Хомякова, не убоившагося сказать про Россію, что
она „неправды черной“ и „всякой мерзости полна“. Но тѣмъ
лучезарнѣе на этомъ фонѣ выступаетъ литература русская,
съ ея безгранично-высокими идеалами, съ ея неустанной
борьбой за правду-справедливость — въ формѣ ли прямого
призыва къ подвигу, въ формѣ ли ухищленія отъ зла міра,
въ формѣ ли тоски вообще, но тоски творческой. Творческой
потому, что Великая Печаль литературы русской, которая
находится въ такой органической связи и съ тихою грустью
русскаго пейзажа, и съ заунывной пѣснью „подобною
стону“, и съ стремленіемъ „простого народа“ къ „матери-
пустыни“, была не только печалью, не только уныніемъ.
Говоря стариннымъ выраженіемъ, Печаль русской лите-
ратуры была всегда и Печалованіемъ, т. е. дѣятельною лю-
бовью и дѣйственной заботою объ униженныхъ и оскорблен-
ныхъ.

С. В.

15 дек. 1910 г.

I.

Основныя черты исторіи новѣйшей русской литературы.

(Вступительная лекція, читанная въ спб. университетѣ 24 сентября 1897 г.).

Содержаніе.

§ 1. Міровое значеніе новѣйшей русской литературы.—§ 2. Контрастъ между богатствомъ русской литературы и недавней бѣдностью русской общественной жизни.—§ 3. Мы крейсирруемъ теперь у береговъ свободы.—§ 4. Русская литература всегда была касседрой, съ которой раздавалось учительное слово.—§ 5. Учительный характеръ русской литературы XVIII в. и начала XIX-го.—§ 6. Основной задачей литературы Пушкинъ считаетъ возбужденіе «чувствъ добрыхъ».—§ 7. Лермонтовъ и Гоголь рисуютъ себя писателя только въ образѣ негодующаго пророка.—§ 8. Начиная съ 1840-хъ годовъ, всякій замѣтный писатель становится въ то же время общественнымъ вождемъ.—§ 9. Литературныя произведенія оцѣниваются русской критикой, главнымъ образомъ, съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго «направленія». — § 10. Левъ Толстой считаетъ «чистое» искусство пустою и вредною забавою.— § 11. Амориализмъ и аполитизмъ возникающаго въ 1880-хъ годахъ декадентства.— § 12. Освободительное движеніе возвращаетъ «новыя теченія» въ русло общественности.— § 13. Литературный монизмъ. Увлеченіе модернистовъ вопросами философіи и критики.—§ 14. Сравнительная неподвижность русской литературной формы. Установленіе связей съ общественностью, какъ главная задача исторіи новѣйшей русской литературы.— § 15. Тенденціозность и претвореніе.—§ 16. Отражайте вѣрно временное, вѣчное придетъ само собою.—§ 17. Періоды исторіи новѣйшей русской литературы должны быть устанавливаемы соотвѣтственно теоретическимъ лозунгамъ каждой эпохи.— § 18. Духовная красота Вѣлинскаго, какъ лозунгъ всей послѣдующей литературы. Завѣщанная имъ борьба за правду.

5454



§ 1. Міровое значеніе новѣйшей русской литературы.

На нашихъ глазахъ происходило чудесное превращеніе, глубоко умиленное для нашего національнаго самолюбія.

Русская литература, которой еще такъ недавно въ западно-европейскихъ руководствахъ отводилось четыре-пять страницъ, — столько же, сколько литературѣ румынской и новогреческой, — вдругъ стала возбуждать въ Европѣ удивленіе, близкое къ энтузіазму. Хотя Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь и Грибоѣдовъ уже давно переведены почти на всѣ европейскіе языки, но какъ-то они мало трогали и публику, и цѣнителей. Прелесть Пушкинскаго и Лермонтовскаго стиха пропала въ передачѣ, а содержаніе казалось европейскимъ критикамъ подражаніемъ Байрону. Оцѣнить же глубоко-національныя стороны русскаго байронизма, понять, насколько въ Онѣгинѣ, напримѣръ, геніально воспроизведены чисто-русскія явленія и теченія, европейская критика, при своемъ полномъ незнакомствѣ съ русскою жизнью, конечно, не могла. Еще менѣе могло быть понято ею значеніе Гоголя и Грибоѣдова, съ ихъ воспроизведеніемъ явленій, кажущихся каждому европейцу какою-то грубою и неправдоподобною каррикатурою.

Зато и публика, и критика Западной Европы въ совершенствѣ поняли и оцѣнили гордость и красу русскаго слова второй половины XIX вѣка — Тургенева. Поразительно, однако, что при всей восторженной внимательности, съ которою Тургеневъ былъ оцѣненъ и изученъ въ Европѣ, это было признаніе чисто-индивидуальное, къ одному Тургеневу относившееся. Никому изъ прозорливѣйшихъ европейскихъ критиковъ не приходило на умъ, что такія снѣговья вершины литературнаго творчества, какъ авторъ „Записокъ Охотника“ и „Дворянскаго Гнѣзда“, немислимы на плоской поверхности. Онѣ неизбежно должны быть въ связи съ

цѣлою горною цѣпью, съ цѣлымъ рядомъ такихъ же горъ. Слѣдовательно, повѣсти и романы Тургенева должны были вырасти на глубоко-замѣчательной литературной почвѣ.

И только съ 1870-хъ и 1880-хъ гг. появленіе въ переводѣ „Войны и Мира“, „Анны Карениной“, „Преступленія и Наказанія“, „Обломова“ и другихъ русскихъ романовъ подчеркнуло это основное положеніе исторіи литературы. Европейская критика была глубоко удивлена, увидѣвши, что Тургеневъ, котораго она считала лучшимъ прозаикомъ второй половины вѣка, имѣетъ литературныхъ товарищей, не только не уступающихъ ему въ значеніи, но — въ лицѣ Толстого и Достоевскаго — стоящихъ выше его по глубинѣ захвата.

Такое открытіе не могло пройти безслѣдно и, начиная съ 1880-хъ годовъ, въ Европѣ заговорили о русской *литературѣ* въ цѣломъ, какъ о явленіи въ высокой степени замѣчательномъ. Сочиненія Толстого стали расходиться въ международной книжной торговлѣ въ такомъ количествѣ изданій, къ каждому слову великаго русскаго писателя стали прислушиваться съ такимъ безконечнымъ вниманіемъ, что въ концѣ-концовъ приходилось даже задумываться надъ тѣмъ, гдѣ онъ болѣе знаменитъ и любимъ — у себя дома или за границей. Достоевскій произвелъ сильнѣйшее впечатлѣніе, и много можно указать литературныхъ произведеній, въ томъ числѣ такихъ крупныхъ талантовъ, какъ Гауптманъ, Бурже, Д'Анунціо, гдѣ вліяніе великаго патологическаго генія сказалось ярко и наглядно. Весь, вообще, европейскій „модернизмъ“ считаетъ Достоевскаго въ числѣ своихъ первоучителей.

Но не только великіе представители русскаго слова вліяютъ теперь на европейское творчество. Европейскій литературный міръ прислушивается и къ голосу цѣлага ряда другихъ русскихъ писателей. Послѣ Толстого и Достоевскаго настоящимъ триумфаторомъ прошелъ по нѣмецкой сценѣ Горькій; возбуждаютъ сильнѣйшій интересъ по всей Европѣ Леонидъ Андреевъ, Чеховъ, Короленко, Мережковскій, Федоръ Сологубъ, Купринъ и т. д., и т. д., вплоть до Арцыбашева, съ его печальнымъ „Саниннымъ“.

Въ общемъ, такъ называемое „русское вліяніе“ стало

виднымъ явленіемъ европейской литературной жизни; что и повело къ знаменательнѣйшему результату: русской литературѣ отводится мѣсто рядомъ съ литературой англійской, французской и нѣмецкой.

Это почетное уравненіе нашей молодой письменности съ литературой главенствующихъ народовъ цивилизованнаго міра, заматерѣлыхъ въ культурной жизни, не покажется, конечно, преувеличеніемъ всякому, кто хоть нѣсколько размышлялъ надъ первокласснымъ матеріаломъ, даваемымъ новою и новѣйшею русскою литературою. Развѣ всѣ великіе русскіе писатели вмѣстѣ съ тѣмъ не великіе писатели *міровые*, развѣ не должно быть имъ отведено мѣсто въ первыхъ рядахъ человѣчества?

Но, собственно говоря, слѣдуетъ прійти къ еще болѣе разительнымъ выводамъ.

Если брать для сравненія только новѣйшій періодъ русской литературы, литературу *второй половины XIX столѣтія*, то простой перечень корифеевъ покажетъ, что мѣсто ея нѣсколько иное. Неужели произведенія Толстого, Тургенева и Достоевскаго стоятъ только рядомъ съ англійской и американской литературой второй половины XIX вѣка, кульминаціонными точками которой являются романы Джорджъ Эліотъ, Бичеръ-Стоу, рассказы Бретъ-Гарта, туманная поэзія Броунинга, сладенькія идилліи Теннисона? Только-ли рядомъ слѣдуетъ ее помѣстить и съ тою нѣмецкою литературою второй половины вѣка, во главѣ которой стояли Ауэрбахъ, Фрейтагъ, Шпильгагенъ и Поль Гейзе? Наконецъ, не совсѣмъ рядомъ ей мѣсто даже съ французской литературой послѣдняго полувѣка, хотя она блистаетъ такими сильными талантами, какъ Дюма-сынъ, Флоберъ и Гюи-де-Мопассанъ.

Нѣтъ, безъ всякаго національнаго бахвальства можно сказать слѣдующее: по индивидуальному генію своихъ высшихъ проявленій, а главное по основнымъ теченіямъ своимъ русская литература второй половины XIX вѣка стоитъ безусловно выше новѣйшей западно-европейской литературы, кульминаціонный пунктъ которой не во второй, а въ *первой* половинѣ вѣка, въ творчествѣ Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Бальзака, Гюго, Жоржъ-Зандъ, Диккенса. Развѣ то, что такъ недавно въ Европѣ являлось послѣднимъ словомъ

художественнаго прогресса — реализмъ, не господствуетъ у насъ около восьмидесяти лѣтъ? И притомъ, какой же чело-вѣкъ съ развитымъ эстетическимъ пониманіемъ не чувствуетъ, насколько мельче многопрославленный европейскій реализмъ 1870-хъ и 1880-хъ годовъ, такъ близко граничащій съ порнографіей и отсутствіемъ идеаловъ, въ сравненіи съ реализмомъ русскихъ писателей? У русскихъ писателей жизненность изображенія въ самомъ дѣлѣ доведена до полнаго воспроизведенія дѣйствительности, и это до послѣднихъ предѣловъ реальное воспроизведеніе, все-таки, озарено свѣтомъ идеала и полно такой любви къ чело-вѣку, о которой и помину нѣтъ даже у крупнѣйшихъ европейскихъ реалистовъ. Тѣ въ своемъ анализѣ жизни дошли до предѣла, гдѣ трезвость и правда изображенія переходятъ въ невольный апофеозъ грубѣйшихъ инстинктовъ животной природы чело-вѣка. И, несомнѣнно, что именно въ этомъ различіи русскаго и европейскаго реализма и лежала тайна огромнаго успѣха русскихъ писателей въ публикѣ и критикѣ Западной Европы. Всѣ почувствовали, что въ застоявшейся и подернувшейся мутью потокъ европейской литературы вливалась какая-то свѣжая струя, полная своеобразныхъ красокъ, составляющихъ не продуктъ гніенія и разложенія, а результатъ органической работы непочатыхъ и неистощенныхъ еще молодыхъ силъ. Вчерашніе варвары говорили какое-то новое слово, которому и пришлось оказать глубокое вліяніе на европейскую литературу. Оказать въ силу того, что въ этомъ новомъ словѣ, въ этомъ одухотворенномъ реализмѣ говорила не тоска пресыщенія и немощь старческаго истощенія, а юношески-страстный порывъ къ свѣту и правдѣ.

§ 2. Контрастъ между богатствомъ русской литературы и недавней бѣдностью русской общественной жизни.

Какъ относится высокое развитіе русской литературы къ формамъ русской общественной жизни? Литература — есть отраженіе жизни — гласитъ историческая наука. У великаго народа всегда бываетъ великая литература и наоборотъ: великая литература есть продуктъ духовнаго существа вели-

каго народа. У великаго народа, казалось бы, должны быть соотвѣтствующія формы общественной жизни.

Таковы теоретическія построенія. Такъ ли оно, однако-же, на практикѣ?

Когда я впервые задался этимъ вопросомъ — въ срединѣ 1880-хъ годовъ¹⁾—я отвѣчалъ на него слѣдующимъ образомъ:

„Нужно ли много распространяться о томъ, что русская общественная жизнь находится еще въ совершенно младенческомъ состояніи? Я, конечно, всего менѣе намѣренъ отрицать, что русская общественная жизнь представляетъ собою великую потенцію. *Можетъ быть величайшую изъ всѣхъ потенцій, вложенныхъ въ русскій національный гений, предназначенную удивить міръ своеобразіемъ своихъ общественныхъ построений*²⁾. Но теперь я говорю о настоящемъ и недавнемъ прошломъ, о той странной гражданственности, которая началась прямо съ учрежденія Академіи Наукъ и, продолжая развиваться въ томъ-же направленіи, привела къ тому, что мы стоимъ теперь во главѣ европейскихъ народовъ по своей литературѣ и въ хвостѣ по народному образованію. Общественность же создается только участіемъ въ духовной жизни страны среднихъ и низшихъ классовъ. И вотъ почему въ настоящемъ своемъ видѣ наша общественная жизнь слишкомъ блѣдна и незначительна, чтобы выдержать сравненіе съ кипучимъ потокомъ общественной жизни западно-европейской“.

„Кромѣ литературы есть другія проявленія интеллектуальной жизни: наука, техника, живопись, скульптура, музыка. Въ какомъ соотношеніи находятся онѣ съ высокимъ развитіемъ русской литературы?“

„Безспорно успѣхи наши въ этомъ направленіи очень велики. И русское искусство, и русская наука выдвинули не одно славное въ Европѣ имя. Въ общемъ, однако, нельзя не признать, что на поприщѣ науки, пластическаго и тональнаго искусства, Россія не достигла еще той стадіи, при которой могла бы вполне стать на одну доску съ наукой и искусствомъ Западной Европы. А тѣмъ болѣе претендовать

¹⁾ См. 2-е изд. моихъ «Основныхъ чертъ исторіи новѣйшей русской литературы». Спб., 1909 г., стр. 39, и т. VII настоящаго Собранія.

²⁾ Курсивъ теперешній.

на первенство. Достаточно привести въ подтвержденіе, что всякій ученый, техникъ, художникъ и музыкантъ отправляется для „усовершенствованія“ за границу. Во всякомъ случаѣ, „о русскомъ вліяніи“ въ наукѣ и искусствѣ Западной Европы пока еще никакой рѣчи не можетъ быть“.

И вотъ, если сопоставить фактъ необыкновенно-высокаго развитія русской литературы съ тѣмъ, что наука и искусство относительно не такъ высоко стоятъ въ Россіи, а общественная жизнь находится въ младенческомъ состояніи, то мы приходимъ къ выводу, что новѣйшая русская литература не только замѣчательное само по себѣ явленіе, но что она самое замѣчательное явленіе русскаго духа. Вся совокупность стихійныхъ и историческихъ условій, которая создала широкій размахъ русскаго душевнаго склада, ярче всего выразилась въ литературѣ. Въ силу своеобразнаго положенія русской интеллигенціи, принужденной, вслѣдствіе малой культурности окружающей среды, замыкаться исключительно въ сферѣ интеллектуальныхъ интересовъ, — въ силу этого разлада русская литература есть центральное проявленіе русскаго духа, фокусъ, въ которомъ сошлись лучшія качества русскаго ума и сердца. Нигдѣ она не является такимъ исключительнымъ проявленіемъ національнаго генія, какъ у насъ. Въ жизни другихъ народовъ литература есть только частный случай общаго культурнаго состоянія страны, частное проявленіе духовныхъ силъ, которыя болѣе или менѣе равномерно распределены по всѣмъ отраслямъ національной жизни. У насъ этого соответствія нѣтъ: литература могущественно развивается у насъ по своимъ особымъ внутреннимъ законамъ, при полной дремотѣ общественныхъ силъ и общественной инициативы. Было бы, конечно, смѣшно думать, что русскій національный геній имѣетъ какое-то особое предрасположеніе къ художественному творчеству и только въ немъ одномъ можетъ проявиться. Дѣло исключительно въ условіяхъ мало-культурной среды, которая одна и есть причина того, что нынѣшняя русская литература стала центральнымъ проявленіемъ всѣхъ силъ русскаго духа, при другомъ уровнѣ жизни нашедшихъ бы себѣ не столь исключительное примѣненіе“.

§ 3. Мы теперь крейсируемъ у береговъ свободы.

Съ чувствомъ высокаго душевнаго удовлетворенія перечитываю я эти строки, которымъ уже четверть вѣка. Глубокое убѣжденіе мое, что русской общественности предстоитъ развернуться чрезвычайно своеобразно сбылось блистательно. То, что для меня, убѣжденного народника и понинѣ, тогда было однимъ только мистическимъ чаяніемъ — теперь стало живой реальностью. Великая потенція стала великимъ фактомъ. 1905-му году, дѣйствительно, суждено было „удивить міръ своеобразиемъ своихъ общественныхъ построеній“, и русское политическое творчество стало предметомъ не меньшаго удивленія, чѣмъ творчество литературное. Побѣда, одержанная въ 1905 г., безмѣрна и непримѣрна по силѣ и оригинальности. Рухнулъ строй, державшійся длинный рядъ столѣтій. Какъ бы по мановенію волшебнаго жезла выявились на свѣтъ Божій столь ярко окрашенныя настроенія, что при наличности ихъ говорить о дремотѣ общественныхъ силъ уже смѣшно. Пусть въ тѣ дни, когда пишутся эти строки, даже въ десять разъ будетъ сильнѣе реакція въ руководящихъ сферахъ и убогой кучкѣ, завладѣвшей народнымъ представительствомъ—это ровно ничего не значить. Если еще окончательно не установилось новое, то старое прошло навѣки.

Мы все же крейсируемъ у береговъ свободы. Корабль русскаго политическаго самосознанія, столь давно пустившійся въ далекое и, казалось, совершенно безнадежное плаванье, теперь у цѣли. Берегъ обѣтованной земли еще весь укутанъ въ густой туманъ и скрытъ отъ нашихъ глазъ. Такъ, нѣкогда, почти достигнутая Америка не открывалась жадному взору Колумба, хотя онъ былъ уже на самомъ близкомъ разстояніи отъ нея. Но уже теплое теченіе идетъ отъ благодатныхъ береговъ новой страны, уже волна приноситъ невиданные плоды роскошнаго Юга, а вѣтеръ сладкіе ароматы. Одинъ порывъ новой бури, и солнце пронизетъ туманъ, разсѣется мгла, и очарованному взору во всемъ своемъ дивномъ блескѣ предстанетъ волшебный край свободы.

§ 4. Русская литература всегда была каведрой, съ которой раздавалось учительное слово.

Не берусь здѣсь судить и пророчествовать о томъ, къ чему въ сферѣ литературы приведетъ полное и настоящее водвореніе свободы на Руси.

Богъ его знаетъ, процвѣтетъ ли отъ этого литература въ тѣсномъ смыслѣ слова. Возможно, что и не процвѣтетъ; возможно, что свободная Россія окажется болѣе бѣдной талантами, чѣмъ Россія рабская. Аналогій и прецедентовъ можно найти сколько угодно. Расцвѣтъ латинской литературы совпадаетъ съ вѣкомъ Августа, задушившаго римскую свободу. Кульминаціонный пунктъ испанской литературы относится къ вѣку Филиппа II; геній Гете и Шиллера возмужалъ въ атмосферѣ абсолютизма; Байронъ — продуктъ реакціоннѣйшей полосы англійской и европейской культуры; Гоголь, Лермонтовъ, вся великая плеяда сороковыхъ годовъ—люди одной изъ самыхъ мрачныхъ полосъ русской исторіи. Относительно-свѣтлая полоса 1860-хъ годовъ большихъ талантовъ не дала, а страшные 1880-ые годы дали Чехова. Напомню еще разъ, что именно въ сосредоточеніи всей силы и всего размаха русскаго духа въ русской литературѣ я и вижу причину пышнаго расцвѣта ея. И весьма возможно, что предоставленіе русской талантливости не только литературныхъ, но и иныхъ путей, ослабитъ талантливость специально литературную.

Но если, однако-же, вопросъ о соотношеніи политической свободы и процвѣтанія литературы и искусства вообще очень сложенъ и едва ли поддается единообразному рѣшенію, то во всякомъ случаѣ, несомнѣнно одно: общественно-политическія условія накладываютъ яркую печать на литературу и сообщаютъ ей тѣ или другія особенности.

Въ частности, созданное дремотою русскихъ общественныхъ силъ центральное положеніе русской литературы не могло не сообщить ей особенностей, рѣзко отличающихъ ее отъ литературы другихъ европейскихъ народовъ. Главная изъ нихъ та, что *наша литература никогда не замыкалась въ сферѣ чисто-художественныхъ интересовъ и всегда была каведрой,*

съ которой раздавалось учительное слово. Всѣ крупные дѣятели нашей литературы, въ той или въ другой формѣ, отзывались на потребности времени и были художниками - проповѣдниками.

§ 5. Учительный характеръ русской литературы XVIII вѣка и начала XIX-го.

Эта знаменательнѣйшая черта съ особенной яркостью обрисовалась въ послѣднію 60—70 лѣтъ, но начатки ея идутъ очень далеко.

Новый, европейскій фазисъ русской литературы начинается съ Кантемира. И чѣмъ же былъ этотъ первый лепетъ нашего художественнаго творчества, еще не нашедшаго себѣ даже соотвѣтственнаго литературнаго выраженія, еще пользовавшагося антихудожественною формою прежняго монашескаго періода русскаго просвѣщенія—силлабическими виршами? Воспитанника древнихъ классиковъ, имѣвшаго въ своемъ распоряженіи всѣ роды и виды литературы, не прельстила ни безпритязательная любовная пѣснь, ни отрѣшенная отъ жизни идиллія, хотя въ переводѣ образцовъ этихъ родовъ поэзіи онъ упражнялъ свой стихъ. Онъ прямо схватился за бичъ сатиры и является въ ней одушевленнымъ поборникомъ и пропагандистомъ Петровской реформы. Такимъ же воинствующимъ публицистомъ и страстнымъ агитаторомъ усвоенія европейской культуры былъ и Ломоносовъ въ своихъ одахъ, несмотря на всю низкопоклонность ихъ. Оды Державина тоже вышли изъ невысокихъ побужденій. Но настоящій талантъ никогда не можетъ остаться въ сферѣ однихъ низменныхъ побужденій, и, въ общемъ, оды Державина являются живою поэтическою лѣтописью своего времени и искреннимъ выраженіемъ восторговъ, возбужденныхъ „блестящимъ“ по внѣшности царствованіемъ Екатерины. Характерно, что даже такое, казалось бы, отрѣшенное, по своей темѣ, отъ условій мѣста и времени произведение, какъ ода „Богъ“, непосредственно вытекло изъ полемическаго желанія автора дать отпоръ шедшему изъ Франціи скептицизму.

Творчество четвертаго крупнаго дѣятеля XVIII в.—Фон-

визина уже всецѣло посвящено учительнымъ задачамъ глубокаго общественнаго значенія.

Тѣмъ же серьезнымъ общественнымъ задачамъ посвятила себя оригинальная, полу-художественная, полу-прямо публицистическая литература памфлета и картинъ нравовъ, которая приняла форму летучихъ листковъ т. н. „сатирической журналистики“.

Народившійся въ концѣ вѣка сентиментализмъ ударился въ одно приторное воспѣваніе чувства, или вѣрнѣе, чувствительности, но онъ не привлекъ къ себѣ ни одного крупнаго *художественнаго* дарованія (значеніе Карамзина не художественное), а наиболѣе даровитый изъ пѣвцовъ сентиментализма—Дмитріевъ выказалъ лучшія стороны своего дарованія въ сатирѣ на злобу дня—на ходульность наводниваго литературу напыщеннаго одописанія.

Въ началѣ XIX вѣка выдѣляется дѣятельность писателя, литературная карьера котораго особенно ярко подчеркиваетъ учительное значеніе русской литературы. Я говорю о Жуковскомъ, поэтѣ очень симпатичнаго и изящнаго, но безусловно второстепеннаго дарованія и тѣмъ не менѣе достигшаго первостепеннаго значенія. Чѣмъ же? Тѣмъ, что онъ взялъ на себя роль учителя въ буквальномъ смыслѣ слова и знакомилъ русское общество съ литературою Запада въ рядѣ превосходныхъ переводовъ. А изъ оригинальныхъ произведеній Жуковского наибольшее впечатлѣніе произвелъ „Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ“—откликъ на злобу дня въ самомъ буквальномъ смыслѣ этого слова.

Сверстникъ и современникъ Жуковского—Батюшковъ былъ поэтъ болѣе сильнаго и оригинальнаго дарованія, чѣмъ Жуковскій. Но онъ не достигъ и половины значенія и популярности послѣдняго, потому что его эпикурейская муза, воспѣвавшая наслажденіе, была чужда русскому читателю, привыкшему искать въ литературѣ не только забавы, но и правилъ жизни.

Объ учительномъ значеніи Крылова, конечно, распространяться нѣтъ надобности: оно вытекаетъ изъ самаго существа литературнаго рода, которому посвятилъ себя гениальный баснописецъ. Но не будетъ лишнимъ прибавить, что нигдѣ басня не получила такого развитія и нигдѣ она

не получила такого рѣзкаго національнаго отпечатка, какъ въ русской литературѣ XVIII и XIX вѣковъ. Въ то время, какъ въ западно-европейскихъ литературахъ (причемъ характерно, что есть литературы, напр., англійская, совсѣмъ неимѣющія выдающихся баснописцевъ) басня привлекала къ себѣ лишь незначительное количество поэтовъ, изъ русскихъ поэтовъ XVIII вѣка нѣтъ почти ни одного, который бы не писалъ басенъ. Какъ всякій геній, Крыловъ есть только кульминаціонный пунктъ цѣлой эпохи процвѣтанія русской басни, замѣчательной еще тѣмъ, что она не ограничивалась простымъ подражаніемъ древней баснѣ, стоящей внѣ времени и пространства и довольствующейся моралью самаго общаго и, слѣдовательно, безобиднаго свойства. Русская басня бичевала непосредственно пороки и смѣшныя стороны *своего* времени. Конечно, процвѣтаніе басни въ русской литературѣ XVIII и начала XIX вѣковъ, а затѣмъ исчезновеніе ея можетъ быть объяснено весьма близко къ истинѣ и тѣмъ, что басня вообще есть младенческая форма литературы, популярная только въ начальномъ періодѣ каждой письменности. Но это объясненіе есть только объясненіе. Оно ни мало не колеблетъ самаго факта, что русскій читатель всѣмъ ходомъ своей литературы приученъ смотрѣть на нее, какъ на источникъ учительнаго слова, посвященнаго живымъ темамъ современности.

Начало 1820-хъ годовъ ознаменовано дѣятельностью писателя, въ лицѣ котораго художественно-учительное значеніе русской литературы едва-ли не достигло высшей своей точки. За исключеніемъ комедій Аристофана, создавшихся въ литературѣ народа, у котораго совсѣмъ не было личной нравственности, а была одна только нравственность политическая и общественная, ни въ одной европейской литературѣ нѣтъ драматическаго произведенія, до такой степени насквозь проникнутаго гражданскою, въ полномъ смыслѣ слова, скорбью, какъ „Горе отъ ума“. По искренности и глубинѣ негодующаго чувства и вообще по цѣльности настроенія, геніальная „комедія“ Грибоѣдова есть вмѣстѣ съ тѣмъ и настоящая проповѣдь, страстный призывъ итти по новымъ путямъ.

И это тѣмъ характернѣе, что самъ авторъ отнюдь не

былъ ни Катонъ, ни Аристидомъ. Значить, силу ему дало богатое общественными настроеніями направленіе цѣлой эпохи, выразителемъ которой онъ явился. Привлеченный къ дѣлу декабристовъ почти какъ обвиняемый, Грибоѣдовъ не только выпутался, но получилъ крупнѣйшее повышение по службѣ. Если же, однако, взять декабризмъ въ самой его основѣ, то кто какъ не Грибоѣдовъ въ своемъ великомъ произведеніи ярче всѣхъ выразилъ тотъ идейный подъемъ, ту высоту гражданскаго чувства, которая составляетъ незабвенную историческую заслугу декабрьскаго движенія предъ русской культурой?

§ 6. Основной задачей литературы Пушкинъ считаетъ возбужденіе „чувствъ добрыхъ“.

Выразителемъ того же напряженія гражданскаго чувства явился и молодой Пушкинъ. Въ Александровскую эпоху Пушкинъ былъ живымъ отраженіемъ безпокойнаго настроенія времени и самъ себя характеризовалъ, какъ поэта, который „свободу лишь умѣетъ славить“. Въ первыхъ романтическихъ поэмахъ своихъ и отдѣльныхъ стихотвореніяхъ онъ бросалъ страстный вызовъ тираніи и всѣмъ старымъ традиціямъ, провозглашалъ свободу чувства и проповѣдывалъ презрѣніе къ условнымъ формамъ. Со второй половины 20-хъ годовъ улеглось броженіе и самого Пушкина и общества, и поэтъ вступаетъ въ такъ называемый „объективный“ періодъ своего творчества. Но помимо того, что и это стремленіе къ объективному творчеству было отраженіемъ настроенія времени, утомленнаго возбужденіемъ послѣднихъ лѣтъ царствованія Александра и жаждавшаго спокойствія, помимо этого косвеннаго служенія нуждамъ времени, Пушкинъ никогда не былъ въ состояніи совладать съ живой натурой своей и оставаться на олимпійскихъ высотахъ безразличнаго творчества.

Всеобъемлющій геній Пушкина никогда не успокаивался на чемъ-нибудь одномъ, и никто точнѣе его самого не исполнялъ завѣта, который онъ далъ поэту:

...дорогою свободной

Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ.

И такъ какъ отзывчивая натура влекла его то въ одну, то въ другую сторону, то каждая изъ главныхъ литературныхъ теорій нашихъ—и сторонники „чистаго искусства“ и апологеты искусства общественнаго — можетъ подтвердить свои положенія ссылками на Пушкина. Недаромъ, вѣдь, сравнивалъ Пушкинъ поэта съ „эхомъ“, которое на все отзывается, будь то „гласъ бури и валовъ“, или мирный „крикъ сельскихъ пастуховъ“.

Да, въ минуту полемическаго раздраженія и притомъ совсѣмъ особаго рода (вовсе не антидемократическаго, какъ принято думать), онъ, дѣйствительно, воскликнулъ въ „Черни“:

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Но развѣ это-же самое стихотвореніе не есть полное нарушеніе провозглашенныхъ въ немъ принциповъ? Вѣдь въ немъ нѣтъ ни звуковъ сладкихъ, ни молитвъ, и въ общемъ оно представляетъ собою яркій образчикъ тенденціозно-дидактическаго запрещенія идти дорогою свободою, куда влечетъ поэта его свободный отъ какихъ бы то ни было запрещеній умъ:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ

будто созданъ поэтъ. И вслѣдъ затѣмъ пишется страстный памфлетъ „Клеветникамъ Россіи“—откликъ на злобу дня въ буквальномъ слыслѣ слова — на дебату въ одномъ изъ засѣданій французскаго парламента.

Въ оградахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметають соръ—полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?

Такъ иронизируетъ поэтъ, когда ему предлагаютъ быть „полезнымъ“. А черезъ нѣсколько лѣтъ этотъ же жрецъ, единственно изъ желанія быть полезнымъ, берется за метлу журналиста, и великое дарованіе тратится на сметаніе сора, внесеннаго въ литературу Булгаринными и К^о.

Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя,—

просить поэта „чернь“, т. е. публика, всѣмъ ходомъ русской литературы приученная получать отъ нея поученія. Но поэтъ презрительно отказывается:

Подите прочь—какое дѣло
Поэту мирному до васъ?

А въ это самое время онъ заканчивалъ „Евгенія Онѣгина“, въ кототомъ жизнь „черни“ отразилась съ небывалою до того полнотою и въ которомъ, въ плѣнительномъ образѣ Татьяны, былъ преподанъ одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ и волнующихъ уроковъ жизни, когда-либо преподанныхъ русской литературой. Прошло почти 80 лѣтъ, какъ Татьяна отвѣтила Онѣгину:

Я васъ люблю, къ чему лукавить,
Но я другому отдана,
Я буду вѣкъ ему вѣрна,—

и этотъ отвѣтъ не перестаетъ до сихъ поръ волновать русскаго читателя и поднимать въ немъ вопросы нравственнаго порядка. Многое, очень многое въ геніальномъ романѣ перестало интересовать позднѣйшаго читателя, на многое онъ сталъ смотрѣть исключительно съ исторической точки зрѣнія. Но образъ Татьяны, олицетворившій въ себѣ полную свободу отъ условности съ неумолимымъ признаніемъ долга, навсегда врѣзался въ сердце русскаго читателя. Каждое поколѣніе имѣетъ свое отношеніе къ отвѣту Татьяны, — то восторженно-положительное, то насмѣшливо-отрицательное, но во всякомъ случаѣ не безразличное. „Смѣлый урокъ“ на практикѣ былъ данъ поэтомъ, теоретически отъ него отказавшимся. На практикѣ, слѣдовательно, поэтъ и въ эпоху своего пренебреженія ко всему тому, что не есть интересъ чисто-художественный, никакъ не могъ удержаться въ ограниченной сферѣ чисто-эстетическихъ настроеній и тоже сталъ учителемъ жизни. Да и какъ тому иначе быть? Развѣ есть что-нибудь безразличное въ жизни и даже въ „мертвой“ для другихъ, но живой для поэта природѣ?

И не только сталъ Пушкинъ учителемъ жизни, но въ учительномъ характерѣ литературы усмотрѣлъ ея высшее назначеніе. Въ 1836 году Пушкина усиленно занимаетъ мысль о смерти, онъ заказываетъ себѣ даже могилу въ Святогорскомъ монастырѣ, гдѣ вскорѣ и пришлось ему опочить вѣчнымъ сномъ. Правильно или неправильно—это другой вопросъ, онъ чувствуетъ потребность подвести итоги своей дѣятельности, опредѣлить сущность своего значенія въ исторіи русскаго слова. Онъ пишетъ „Я памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный“, гдѣ съ тою величавою простотою, которая характеризуетъ истинно-великихъ людей, говорить безъ всякаго жеманства, безъ всякой ложной скромности о своемъ безсмертіи. Создатель русской поэзіи не сомнѣвается въ томъ, что будетъ „славень, доколь въ подлунномъ мірѣ живъ будетъ хоть одинъ пѣить“, что слухъ о немъ „пройдетъ по всей Руси великой“ и назоветъ его „всякъ сущій въ ней языкъ“.

Но за что же, однако, ему столь великій почетъ?

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ.

Самъ по себѣ этотъ отвѣтъ столь знаменателенъ, что не нуждается ни въ какихъ дальнѣйшихъ поясненіяхъ. Въ частности, для основного тезиса нашего этюда болѣе яркаго подкрѣпленія не придумаешь. Пушкинъ, этотъ идолъ всякаго приверженца теоріи „чистаго“ искусства, въ одну изъ торжественнѣйшихъ минутъ своей духовной жизни превыше всего цѣнитъ въ литературѣ учительность.

Но интересъ Пушкинской формулировки назначенія литературы еще безмѣрно возрастаетъ, когда мы обратимся къ черновику знаменитаго стихотворенія.

Оказывается, что первоначально Пушкинъ совершенно въ духѣ „чистаго“ искусства такъ опредѣлилъ свое значеніе:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что звуки новые для тѣсенъ я обрѣлъ.

Твердо и безъ столь обычныхъ у него помарокъ, т. е. безъ колебанія написалъ Пушкинъ подчеркнутый стихъ, въ которомъ выразилъ свое теоретическое литературное credo.

Но вотъ онъ перечитываетъ плодъ непосредственнаго вдохновенія, снова вдумывается въ тему и предъ лицомъ вѣчности открываются новые горизонты. Нѣтъ, мало для поэта истинно-великаго однихъ эстетическихъ достоинствъ. Только къ памятнику того не заростетъ „народная тропа“, кто пробуждаетъ „добрыя чувства“, кто былъ учителемъ жизни.

И зачеркивается формула эстетическая, а взамѣнъ ея дается учительно-гражданская.

§ 7. Лермонтовъ и Гоголь рисуютъ себѣ писателя только въ образѣ негодующаго пророка.

Творчество геніальнаго преемника Пушкина—Лермонтова нашло себѣ опредѣленіе въ его поэтическомъ profession de foi — „Журналистѣ, читателѣ и писателѣ“. Въ чемъ источникъ его творчества?

...диктуетъ совесть,
перомъ сердитый водить умъ.

Совесть. Вотъ онъ тотъ девизъ, который искони былъ девизомъ лучшихъ русскихъ умовъ и которому въ послѣ-лермонтовскій періодъ суждено было отодвинуть на второй планъ всѣ остальные источники творчества. Въ творествѣ самого Лермонтова совесть принимаетъ исключительно формы негодования и озлобленія въ размѣрахъ, до него совершенно чуждыхъ нашей литературѣ. Имъ владѣетъ безумная жажда активнаго презрѣнія къ обществу своего времени. Ему, съ такою безпримѣрною рѣзкостью охарактеризовавшему въ плачѣ надъ гробомъ Пушкина „высшіе“ слои этого общества, ему даже на праздникъ хочется „смутить веселость“ и „бросить въ глаза“ пустому сборищу

...желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью.

Нельзя къ писателю столь великаго озлобленія безъ оговорокъ примѣнить эпитетъ учителя жизни. Нельзя забыть, что въ лицѣ Печорина, эгоизмъ въ извѣстной степени поставленъ на пьедесталь. Но въ этомъ эгоизмѣ было столько

презрѣнія къ пошлости, Печоринъ такъ ярко подчеркнул скуку и томленіе бездѣйствія, которое долженъ былъ испытывать чуткій человѣкъ въ жалкой дѣйствительности 30-хъ годовъ. Лермонтовъ такъ высоко поднялъ сознаніе личности, что именно съ него начинается настроеніе, рѣшившееся бросить непримиримый вызовъ косности окружающей среды. Неласковая муза „мести и печали“, которая уже всецѣло стала звать на подвиги добра и любви къ людямъ, была непосредственной преемницей гордой и непреклонной личности Лермонтова. Изъ всѣхъ поэтовъ наибольшее вліяніе на музу Некрасова оказалъ Лермонтовъ, которому подъ конецъ его жизни уже не были скучны „пѣсни земли“, который первый въ русской поэзіи опредѣленно связалъ представленіе о родинѣ съ любовью къ „мужичкамъ“, который закончилъ свое поприще самымъ жгучимъ въ русской литературѣ выраженіемъ непреклонности воли и протеста—„Пророкомъ“. Лермонтовскій пророкъ знаетъ во что обходится „гордость“, онъ не строитъ себѣ никакихъ иллюзій насчетъ успѣха стремленія глаголомъ жечь сердца людей, какъ Пушкинскій пророкъ, — сказать кстати, еще одинъ доводъ въ пользу того, какъ смѣшно считать Пушкина представителемъ равнодушно-объективнаго творчества. Но Лермонтовскій пророкъ, тѣмъ не менѣе, смѣло идетъ на презрѣніе и гоненія, это не удерживаетъ его провозглашать „любви и правды чистыя ученья“.

И вотъ эти-то завершительные аккорды промелькнувшей ослѣпительнымъ метеоромъ литературной дѣятельности Лермонтова даютъ вполне опредѣленное значеніе его озлобленію. Это то озлобленіе, которое, говоря словами ученика Лермонтова—Некрасова,

...проповѣдуетъ любовь

Враждебнымъ словомъ отрицанья.

И люди, вдумавшіеся въ Лермонтовскую мизантропію,

Какъ много сдѣлалъ онъ—поймутъ,

И какъ любилъ онъ,—ненавидя.

Нужно-ли сколько-нибудь подробно останавливаться на учительномъ характерѣ художественной дѣятельности Гоголя? Свой этюдъ, посвященный Гоголю, я озаглавливаю

„Писатель-Гражданинъ“, потому что въ разрушительной работѣ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ русское общественное самосознаніе достигло высоты, поистинѣ грозной.

И этотъ писатель-гражданинъ не только въ литературѣ вообще, но даже въ театрѣ, назначенномъ, по мнѣнію огромнаго большинства, для развлечения и забавы, видитъ, главнымъ образомъ, „такую *каведру*, съ которой можно много сказать міру добра“.

Гоголь представлялъ себѣ писателя только въ видѣ негодующаго проповѣдника. „Звуки сладкіе“ онъ отвергаетъ съ энергіей библейскаго пророка:

„Страхни сонъ съ очей своихъ“,—говоритъ онъ другу своему поэту Языкову,—„и порази сонъ другихъ“.

И вслѣдъ за этимъ Гоголь, въ той оболочкѣ, которая соотвѣтствовала его мистическому настроенію, даетъ удивительнѣйшую по силѣ и яркости литературную формулу:

„На колѣни передъ Богомъ и *проси у него гнѣва и любви*“.

Совѣсть, гнѣвъ, любовь и какъ результатъ ихъ—возбужденіе „чувствъ добрыхъ“ и „милости къ падшимъ“—вотъ они ясные и яркіе основные завѣты великихъ создателей русской литературы.

§ 8. Начиная съ 1840-хъ гг., всякій замѣтный писатель становится въ то-же время общественнымъ вождемъ.

Смертью Пушкина и Лермонтова и созданиемъ на рубежѣ 1830-хъ и 1840-хъ годовъ „Мертвыхъ душъ“, заканчивается періодъ новой русской литературы и начинается періодъ новѣйшей. Новѣйшей—потому что настроенія и идеи, народившіяся въ 40-хъ годахъ, еще не изжиты, а идеалы того времени, во многомъ, правда, приблизившіеся къ осуществленію своему, однако, далеки еще отъ осуществленія полнаго и часто еще составляютъ предметъ ожесточенной борьбы. Самыя пламенные мечты даже молодого, революціонно-настроеннаго Пушкина осуществились, но кто скажетъ это про идеалы Бѣлинскаго и Герцена?

Въ этомъ новѣйшемъ періодѣ служеніе потребностямъ жизни и взглядъ на литературу, какъ на учительную *каведру* всецѣло завладѣваетъ умомъ и сердцемъ рѣшительно

всѣхъ людей, стоящихъ во главѣ литературнаго движенія. Начиная съ 1840-хъ годовъ, всякій замѣтный писатель становится въ то же время общественнымъ вождемъ, и въ основѣ всѣхъ сколько-нибудь крупныхъ и замѣчательныхъ произведеній лежитъ проповѣдь тѣхъ или другихъ общественныхъ взглядовъ и воззрѣній. Всякій писатель долженъ идти направо или налево, а писатель индифферентный къ общественнымъ вопросамъ не имѣетъ ни вліянія, ни успѣха въ соотвѣтствующей его таланту степени.

Когда со середины 1850-хъ гг. началась эпоха великихъ реформъ, первенствующую роль играла литература. Во главѣ движенія стали не представители общественныхъ группъ, которымъ не было возможности сколько-нибудь определенно сорганизоваться, а представители литературы. Вождями новаго поколѣнія были: непосредственно—публицисты и литературные критики, а въ художественномъ отраженіи—лучшіе наши беллетристы и поэты. Борьба общественныхъ партій происходила исключительно на страницахъ журналовъ—гдѣ же ей было происходить въ другомъ мѣстѣ? И—что самое характерное—лозунги сплошь да рядомъ съ виѣшной стороны были чисто-литературные. Такъ напр., даже вопросъ о поэтическомъ значеніи Пушкина становится въ 60-хъ годахъ существенною частью общественно-политическихъ программъ, какъ и вообще „разрушеніе эстетики“. Вопросъ о назначеніи искусства раздѣлилъ всю литературу на два лагеря, и при этомъ люди, считавшіеся передовыми въ общественномъ отношеніи, стояли за служебную роль искусства, а противники либо всего прогрессивнаго движенія, либо „чрезмѣрной“ быстроты его — за „чистое“ искусство. „Современникъ“, Чернышевскій, Некрасовъ, Писаревъ, Герценъ, „Колоколь“, Катковъ, „Русскій Вѣстникъ“, „Вѣсть“, Тургеневскіе „Отцы и Дѣти“—по этимъ именамъ и заглавіямъ въ то время группировались совершенно также, какъ въ наше время по названіямъ политическихъ партій.

§ 9. Литературныя произведенія оцѣниваются русской критикой, главнымъ образомъ, съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго «направленія».

Съ тѣхъ поръ, какъ въ эпоху Бѣлинскаго литературно-общественная русская мысль раскололась на два основныхъ русла, въ ходѣ литературы первенствующую роль получаетъ вопросъ о „направленіи“—терминъ, прямо неизвѣстный европейской критикѣ въ томъ смыслѣ, какъ его у насъ понимаютъ. Съ тѣхъ поръ, какъ кружокъ Бѣлинскаго рѣшительно примкнулъ къ стремленіямъ и чаяніямъ европейской демократіи, эти стремленія проходятъ красной нитью черезъ всѣ почти произведенія всѣхъ наиболее замѣтныхъ писателей ближайшихъ четырехъ десятилѣтій. Все, что составляетъ основаніе славы и значенія Тургенева, Гончарова, Григоровича, Достоевскаго и Писемскаго въ первой половинѣ ихъ дѣятельности, все, что написали Щедринъ, Некрасовъ, Глѣбъ Успенскій, беллетристы 60-хъ и 70-хъ годовъ, все, что пишетъ послѣдніе 30 лѣтъ Левъ Толстой, все это, въ бѣльшей или меньшей степени, является передовыми позиціями весьма опредѣленнаго міросозерцанія. Съ другой стороны, писатели, группировавшіеся въ 40-хъ гг. около славянофиловъ, Погодина и Шевырева, а въ 60-хъ гг. и позднѣе около „Русскаго Вѣстника“, Достоевскій, Писемскій и Гончаровъ въ послѣдній періодъ ихъ дѣятельности, всѣ эти писатели съ пламеннымъ усердіемъ давали отпоръ новымъ идеямъ и тоже превращали свои произведенія въ органъ проведенія въ сознаніе общества своего міросозерцанія. Даже тѣ изъ поклонниковъ „чистаго“ искусства, которые не пускались въ прямыя схватки, а только *намѣренно* уходили въ область абстрактнаго, *намѣренно* устраняли въ своихъ произведеніяхъ все, что напоминало „грязь жизни“, этимъ самымъ сообщали имъ весьма опредѣленную окраску.

Благодаря такому тѣсному переплетенію художественныхъ и общественныхъ задачъ, чисто-литературныя достоинства рѣдко вліяли на оцѣнку даннаго произведенія въ критикѣ. Его оцѣнивали по преимуществу какъ факторъ „прогресса“ или „реакціи“. Прямо можно сказать, что литера-

турной критики въ томъ смыслѣ, какъ ее понимаютъ на Западѣ, т. е. какъ стараніе анализировать непосредственно творческія достоинства самаго писателя, у насъ почти не было. А между тѣмъ всѣ наши выдающіеся критики были люди съ весьма тонкимъ эстетическимъ чутьемъ и безграничною любовью къ художественному творчеству. Литературные критики наши, начиная съ 40-хъ гг., прямые трибуны, для которыхъ художественныя произведенія не болѣе, какъ предлогъ выяснить свои общественные идеалы. Они создали особый родъ критическихъ статей „по поводу“, которыя очень мало занимались эстетическою стороною произведенія и очень много общественными выводами, изъ него вытекающими. Знаменитая борьба по вопросу объ искусствѣ была только предлогомъ для выясненія, съ одной стороны, новаго общественно-политическаго міросозерцанія, а съ другой—противодѣйствія ему. Статьи какъ будто трактовали о Тургеневѣ, Островскомъ, Гончаровѣ, а на самомъ дѣлѣ это были лирическіе манифесты того или другого міровоззрѣнія.

§ 10. Левъ Толстой считаетъ «чистое» искусство пустою и вредною забавою.

Въ число самыхъ яркихъ и характерныхъ проявленій стремленія русской литературы всегда быть учительною каедрою нельзя не включить взглядъ на роль литературы Льва Толстого.

И такъ какъ это сопряжено у него съ отказомъ отъ величайшихъ своихъ произведеній, то естественно возникаетъ тутъ сопоставленіе съ Гоголемъ, который тоже въ концѣ жизни выбрасываетъ за бортъ всю свою художественную дѣятельность. Получается, такимъ образомъ, солидарность двухъ величайшихъ представителей русскаго слова, исходившихъ, однако, изъ діаметрально-противоположныхъ точекъ зрѣнія. Получается контактъ теченій, хронологически отдѣленныхъ рядомъ десятилѣтій.

Въ серединѣ 40-хъ годовъ Гоголь, а въ наши дни Толстой съ глубочайшимъ воодушевленіемъ старались убѣдить своихъ современниковъ, что задачи литературы учительныя,

и только. И если значеніе словъ Гоголя ослабляется тѣмъ, что они вылились у него въ періодъ упадка творческихъ силъ, то зрѣлище отреченія Толстого отъ всего, что доставило ему всемірную славу, поистинѣ поразительно. Именно въ тотъ моментъ, когда весь міръ восторженно аплодировалъ ему, какъ гениальному художнику; именно въ тотъ періодъ, когда напряженіе творческихъ силъ его достигаетъ высшихъ предѣловъ въ созданіи „Смерти Ивана Ильича“, мелкихъ рассказовъ, „Власти тьмы“ и „Крейцеровой сонаты“, именно въ этотъ моментъ великій писатель русской земли провозглашаетъ, что само по себѣ „чистое“ искусство не только пустая, но подчасъ и вредная забава.

Здѣсь не мѣсто вступать въ споръ съ этимъ слишкомъ уже очевиднымъ преувеличеніемъ и увлеченіемъ. Слишкомъ уже очевидно, что въ своемъ походѣ на красоту въ искусствѣ Толстой просто отмечаетъ одинъ изъ самыхъ сильныхъ соблазновъ (вспомнимъ, что онъ въ „Крейцеровой сонатѣ“ говоритъ о соблазняющей силѣ музыки), просто отстраняетъ одну изъ опасностей на пути достиженія нравственнаго совершенствованія. Но сейчасъ, повторяю, нѣтъ надобности разбираться въ правильности или неправильности взглядовъ Толстого на искусство. А вотъ очень важно вспомнить, что какъ ни значителенъ тотъ или другой индивидуальный гений, онъ всегда тѣснѣйшимъ образомъ связанъ съ породившей его средой и такъ или иначе является выраженіемъ ея настроеній. И вотъ почему въ доведенномъ до крайности взглядѣ Толстого мы должны усмотрѣть органическое выраженіе общаго стремленія нашей литературы не столько сѣять прекрасное, сколько

...разумное, доброе, вѣчное.

§ 11. Аморализмъ и аполитизмъ возникающаго въ 80-хъ годахъ декадентства.

Очерченный выше проповѣдническій характеръ можетъ считаться совершенно безспорнымъ для новѣйшей литературы нашей, если въ изученіи ея не идти далѣе 1880-хъ годовъ.

Достаточно, въ самомъ дѣлѣ, прислушаться къ тому, что говорятъ объ этомъ проповѣдническомъ характерѣ ожесточенные противники его. Велико ихъ негодованіе; съ пѣною у рта набрасываются они на вредъ привнесенія „политики“, „направленства“ и всякой иной общественности въ русскую литературу, которая-де отъ этого очень много теряетъ, которой слѣдовало-бы преслѣдовать только чисто-художественныя цѣли и т. д.

Такъ ли это—вопросъ, на которомъ сейчасъ нѣтъ надобности останавливаться. Думаю, что совершенно не такъ. Создавшаяся на основѣ завѣтовъ Бѣлинскаго новѣйшая русская литература, съ ея длиннымъ рядомъ общественныхъ типовъ, съ ея неустанной борьбой за правду, справедливость, свободу и народное счастье, съ ея неустаннымъ возвеличеніемъ подвига и проповѣдью самопожертвованія, эта литература—явленіе столь высокое, столь величественное, что поднимать еще вопросъ о ея недостаткахъ и смѣшно, и чудовищно-неблагодарно.

Повторяю, однако, не въ этомъ дѣло. Сейчасъ мнѣ только важно подчеркнуть, что какъ ни подходить къ проповѣдническому характеру новѣйшей русской литературы — порицая его или одобряя — самый фактъ твердо установленъ.

Начиная съ эпохи Бѣлинскаго, литература наша была пропитана общественно-политическимъ проповѣдничествомъ, и весь запасъ своихъ высокихъ художественныхъ силъ устремляла на освѣщеніе и разрѣшеніе общественно-политическихъ проблемъ.

Но начиная съ конца 1880-хъ годовъ, въ общей окраскѣ нашей литературы происходитъ значительная перемѣна. Учительная сторона какъ будто отходить на второй планъ, и съ рожденіемъ такъ называемаго „декадентства“ и символизма въ ярко и опредѣленно выраженной учительно-проповѣднической схемѣ хода нашей литературы происходитъ несомнѣнное измѣненіе.

Мнѣ придется еще говорить въ слѣдующемъ этюдѣ о „новыхъ теченіяхъ“ и созданномъ ими надломѣ литературной психологіи. Покамѣстъ же коснусь только въ общихъ чертахъ этого надлома.

Важно прежде всего подчеркнуть, что „новыя теченія“ пережили два существенно-различныхъ фазиса. И если въ первомъ фазисѣ разладъ съ героическимъ складомъ нашей литературы былъ очень рѣзокъ, то во второмъ фазисѣ снова восторжествовалъ тотъ могучій порывъ къ правдѣ, который составляетъ сокровенную сущность нашей литературы, который придаетъ ей такую силу и такое неотразимое обаяніе.

Русское декадентство зародилось въ концѣ 1880-хъ годовъ, въ черные дни Побѣдоносцевщины и, несомнѣнно, было органически связано съ тою общественною усталостью и реакціей, на почвѣ которой мрачная фигура „великаго инквизитора“ получила свою роковую для Россіи силу. Въ унисонъ съ Побѣдоносцевщиной, искоренявшей завиральныя идеи въ политической жизни, „новыя теченія“ декадентско-символистическаго пошиба повели ожесточенную борьбу съ дѣятелями и идеями русскаго радикализма. И въ это-же самое время „новыя теченія“ находили новыя идейныя основы для самодержавія и во многомъ сходились съ официальной церковностью.

Однако, не эта еще близость съ самою страшною изъ всѣхъ русскихъ реакцій—наиболѣе характерная черта перваго фазиса декадентско-символистическихъ „новыхъ теченій“. Гораздо тлетворнѣе было стремленіе декадентства свернуть русское сознаніе съ его основного пути беззавѣтнаго исканія общественной правды, *затушить тоску по подвигу*, которая придаетъ бессмертную красоту лучшимъ созданіямъ русскаго слова. Русская литература всегда была храмомъ, въ которомъ пѣлись священные гимны, а декадентство пыталось создать апофеозъ эгоизма, пыталось себялюбивое наслажденіе жизнью прикрыть флагомъ чисто-созерцательнаго „идеализма“ и бездушнаго поклоненія принципу „красоты“. Декадентство не гнушалось открыто радоваться тому, что въ 1880-хъ годахъ была отнята „последняя надежда на участіе въ государственномъ переустройствѣ“, благодаря чему всѣ „мало-по-малу охладѣли къ суетнымъ вопросамъ политики и послѣ двадцатилѣтней бури наступило надолго почти полное умиротвореніе“.

Такимъ образомъ, *аморализмъ и аполитизмъ*—вотъ въ чемъ сущность перваго, безусловно - реакціоннаго періода „новыхъ

течений“, обнимающаго приблизительно лѣтъ десять — съ конца 1880-хъ годовъ до конца 1890-хъ.

§ 12. Освободительное движеніе возвращаетъ „новыя теченія“ въ русло общественности.

Лѣтъ десять, не больше длился этотъ печальный эпизодъ. Подъ вліяніемъ общественно - политическаго возрожденія второй половины 1890-хъ годовъ, аморализмъ и аполитизмъ „новыхъ теченій“ исчезаютъ. Въ реакціонныхъ попыткахъ дать идейную санкцію тому, противъ чего такъ или иначе русское самосознаніе боролось больше вѣка, въ крикливомъ апофеозѣ нарочито-безцѣльнаго искусства, въ стремленіи стереть разницу между добромъ и зломъ, въ циничныхъ увѣреніяхъ, что гнѣвъ и печаль составляютъ „чумное пятно“ русской литературы, декадентство приблизилось къ роковой грани. Кошунственное отношеніе къ тому, что можно назвать Духомъ Святымъ русской литературы и русской общественности должно было сорваться. Аморализмъ и аполитизмъ органически противорѣчатъ всему, чѣмъ сильна русская литература. И все это, дѣйствительно, сорвалось, какъ только русское общественное сознаніе, въ связи съ голодомъ 1891—92 годовъ, снова направляется на путь общественнаго подвига. Зародившись въ наиболѣе черные дни Побѣдоносцевщины, ядовитый пустоцвѣтъ декадентства начинаетъ терять яркость своей окраски, какъ только окончился летаргическій сонъ русскаго общественнаго самосознанія. При первыхъ же ясно обозначившихся успѣхахъ общественнаго подъема, въ декадентско-символистическомъ лагерѣ происходитъ броженіе и расколъ. Падаетъ теорія изящнаго наслажденія жизнью и безпечальнаго эстетизма. Недавніе аморалисты категорически заявляютъ, что одинъ эстетизмъ не удовлетворяетъ ихъ душевнаго голода, что въ жизни и искусствѣ они хотятъ отвѣта на вопросы иного порядка. Возникаетъ такъ называемое „новое религиозное сознаніе“, въ которомъ, однако, нѣтъ и тѣни клерикализма, и которое, правда съ большими отступленіями, но въ общемъ, все таки, возвращаетъ русскую интеллигентскую мысль въ старую, испоконъ вѣка ему родную область

религии добра. Той религии, горячими исповѣдниками которой были и Бѣлинскій, и Добролюбовъ, и Чернышевскій и все народолюбіе руссiйское.

Въ сферѣ политики, чѣмъ шире разрослось освободительное движеніе, тѣмъ тѣснѣе и тѣснѣе къ нему примыкали недавніе активные и пассивные апологеты самодержавія и аполитики. Во всѣхъ выступленіяхъ интеллигенціи главари „новыхъ теченій“ принимаютъ такое же участіе, какъ и тѣ, которыхъ они такъ недавно упрекали въ партійной ограниченности, которыхъ вышучивали за то, что они любовь къ „ближнему“ предпочитали любви къ „дальному“.

Въ наши дни аполитизмъ „новыхъ теченій“ исчезъ окончательно. „Модернисты“ всѣхъ наименованій сплошь да рядомъ сближаются съ крайними партіями. Въ журнальной жизни коалиціи самыхъ яркихъ модернистскихъ силъ съ радикальными элементами стали обычнымъ явленіемъ. Въ смыслѣ общественномъ всѣ отгѣнки модернизма составляютъ теперь органическую часть единой русской оппозиціи.

§ 13. Литературный монизмъ. Увлеченіе модернистовъ вопросами философіи и критики.

Къ исчезновенію изъ „новыхъ теченій“ аморализма и аполитизма нужно прибавить еще одну черту, особенно цѣнную для основного стремленія моего доказать, что наша литература всегда была каедрой, съ которой раздавалось учительное слово. Этотъ учительный элементъ достигъ въ современной литературѣ замѣчательнаго напряженія. Обозрѣвая ходъ литературы послѣднихъ 10—15 лѣтъ, нельзя указать ни одной такой эпохи, даже 60-е годы, когда бы такое количество поэтовъ и беллетристовъ пустилось съ такимъ рвеніемъ въ область философіи и критики.

Я, конечно, не собираюсь смѣшивать воедино художество и публицистику, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, думается, пора намъ перейти къ нѣкому *литературному монизму* и перестать дѣлить писателя на нѣсколько частей, будто бы ничего общаго неимѣющихъ между собой. Писательская личность едина на всемъ протяженіи своей дѣятельности. И если поэтъ углубляется въ философскую систему, если онъ въ

критической статьѣ проникаетъ въ другую поэтическую душу, то онъ своей художественной способности при этомъ ни въ коемъ случаѣ устранить не можетъ. Въ силу этого монизма, всѣ мы, съ другой стороны, находимъ вполне умѣстнымъ, если въ самомъ высокохудожественномъ произведеніи картины и образы перемѣшиваются съ цѣлыми страницами теоретическаго характера. Попробуйте-ка выбросить „разсужденія“ изъ Достоевскаго, попробуйте представить себѣ образъ Ивана Карамазова безъ его богоборческихъ монологовъ, образъ Базарова безъ его проповѣди философскаго матеріализма, образы Пьера Безухова, Левина безъ ихъ вполне теоретическихъ размышленій о смыслѣ жизни.

И вотъ, рассматривая съ точки зрѣнія такого монизма литературу нашихъ дней во всей ея совокупности, я и подчеркиваю, что никогда еще не было у насъ литературнаго періода столь обильнаго учительствомъ всякаго рода. Всѣ безъ исключенія модернисты, и „старшіе“, и „младшіе“ (какъ я ихъ раздѣляю)—Бальмонтъ, Брюсовъ, Блокъ, Мережковский, Минскій, Гипсіусъ, Вячеславъ Ивановъ и многіе другіе—всѣ оставляютъ величественную позу жрецовъ на пѣтическомъ треножникѣ, всѣ взяли въ руку метлу критики, всѣ учительствуютъ, всѣ по своему ищутъ смысла искусства, смысла жизни, смысла всемірно-историческаго процесса.

И остается, какъ мнѣ кажется, попрежнему вѣрнымъ основное положеніе устанавливаемой здѣсь схемы—попрежнему наша литература не замыкается въ сферѣ чисто-эстетическихъ интересовъ и по-прежнему смотритъ на литературу какъ на кафедру. Ярko отзывается она на потребности времени и является проповѣдью по преимуществу.

§ 14. Сравнительная неподвижность русской литературной формы Установленіе связи съ общественностью, какъ главная задача исторіи новѣйшей русской литературы.

Сообразно всему сказанному, исторія новѣйшей русской литературы, по преимуществу, сводится:

1) Къ исторіи смѣны идей и настроеній, волновавшихъ русское общество и

Самостоятельно

2) къ указанію взаимодѣйствія между общественной жизнью и литературой.

Излѣдователю, который захотѣлъ бы заняться исторіею новѣйшей русской литературы только съ эстетической точки зрѣнія, съ точки зрѣнія стиля, напримѣръ, было бы очень мало дѣла. Цѣлыхъ полвѣка, съ 1840-хъ до 1890-хъ гг., наша литература, какъ явленіе эстетическое, никакимъ замѣтнымъ движеніемъ не ознаменована. У насъ идетъ безпрерывная эволюція идей, но литературныя формы весьма мало подвижны. Между Тургеневымъ и его литературнымъ внукомъ Гаршинымъ разницы въ стилѣ нѣтъ. Нѣтъ ея и между Некрасовымъ и Надсономъ, не смотря на то, что ихъ литературные дебюты отдѣлены другъ отъ друга рядомъ десятилѣтій. Послѣдніе 10—15 лѣтъ началась и неизбежная эволюція. Теперь мы присутствуемъ при томъ, какъ смѣна литературнаго стиля, идущая отъ Чехова въ прозѣ и Бальмонта въ поэзіи, развиваясь все стремительнѣе и стремительнѣе, привела, наконецъ, къ полному упраздненію литературныхъ приемовъ, созданныхъ поколѣніемъ 40-хъ годовъ. Но, конечно, эта смѣна ни мало не колеблетъ сейчасъ выставленнаго положенія, что движеніе идейное идетъ у насъ несравненно болѣе быстрымъ темпомъ, чѣмъ движеніе чисто-литературное.

Вотъ почему, повторяю, исторія новѣйшей русской литературы ни въ какомъ случаѣ не можетъ ограничиться одною мало подвижною эстетическою сферою. Она неизбежно должна быть исторіей идей и взаимодѣйствія русской литературы и русской общественности. Можно разнo къ этому относиться, можно возмущаться этимъ взаимодѣйствіемъ съ точки зрѣнія „чистаго искусства“, или можно, напротивъ того, восторгаться такою близостью искусства къ потребностямъ времени. Но *понять* ходъ новѣйшей русской литературы можно только путемъ параллельнаго ознакомленія съ русскою общественностью.

Изученіе новѣйшей русской литературы требуетъ обстоятельнаго знанія событій общественной исторіи нашей, съ которою она органически тѣсно переплетается. Въ эпоху „реформенной“ Россіи литература и жизнь до такой степени сближаются другъ съ другомъ, что сплошь да рядомъ

писки между друзьями. Въ значительномъ большинствѣ случаевъ сила этого усвоенія идей времени была очень велика, переходила въ прямой энтузіазмъ и сообщала необыкновенную глубину и твердость убѣжденія. Данная идея органически проникала все существо писателя, становилась собственностью его духа, приходила на помощь его духовному взору и какъ бы давала ему двойное зрѣніе. Но ставъ второю натурою, идея могла выразиться только въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ всегда выражаются глубокія настроенія всякой художественной организаціи—въ *художественныхъ образахъ*. Такъ, молодой Тургеневъ, подъ вліяніемъ общаго настроенія кружка Бѣлинскаго, выработалъ себѣ весьма опредѣленное міросозерцаніе и въ частности далъ „Аннибалову клятву“ бороться съ крѣпостнымъ правомъ. Когда эта клятва создавалась въ его душѣ, Тургеневъ еще совершенно не установился, какъ писатель, и самый размѣръ его таланта не былъ еще ясенъ даже такому прозорливому цѣнителю, какъ Бѣлинскій. Но убѣжденія его получили весьма опредѣленную окраску, вошли въ его плоть и кровь, онъ горѣлъ желаніемъ воплотить ихъ. Поэтому, когда дарованіе его установилось, онъ сталъ не только великимъ художникомъ, но и выдающимся борцомъ за свое міровоззрѣніе.

Тотъ же процессъ органическаго *претворенія теоретическихъ настроеній въ художественныя* можно прослѣдить въ исторіи творчества всѣхъ выдающихся новыхъ писателей нашихъ. Такъ, кромѣ Тургенева, изъ идейнаго броженія, перешедшаго къ намъ во второй половинѣ 40-хъ годовъ изъ Франціи, вышли Достоевскій, Щедринъ, Григоровичъ, Некрасовъ, Плещеевъ и вся вообще литературная молодежь того времени, не исключая даже чопорного дэнди Дружинина. Съ другой стороны, въ иначе-настроенномъ кружкѣ такъ называемой „молодой редакціи Москвитянина“, съ его мистическою любовью къ русскому быту и русской старинѣ, получило окраску дарованіе Островскаго. Даже уравновѣшенный „фламандецъ“ Гончаровъ въ своей авторской исповѣди сообщилъ, что въ „Обыкновенной исторіи“ старался отразить „первое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, а живого дѣла въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоємъ“. И такъ, не просто изображалъ, а „задавался цѣлью“

сослужить службу обществу. Еще ярче это „задаваніе цѣлью“ въ „Обломовѣ“ и „Обрывѣ“.

Нечего уже и говорить, насколько „задаванье цѣлью“ было сильно въ литературномъ поколѣніи 60-хъ и 70-хъ годовъ, меньше одаренномъ художественнымъ талантомъ и потому еще нагляднѣе подчинявшемся разнымъ теоретическимъ вѣяніямъ. Въ сферѣ литературы послѣднихъ 10—15 лѣтъ достаточно ясна связь творчества Горькаго съ марксизмомъ. Менѣе наглядна, но совершенно, все таки, реальна связь того же марксизма съ русскимъ модернизмомъ. Въ лицѣ наиболѣе яркаго изъ своихъ представителей — Бальмонта въ модернизмѣ сказался тотъ же задоръ и дерзкій вызовъ, который создалъ Максима Горькаго. И Бальмонтъ хочетъ „разрушать зданія“, воспѣваетъ только бурю, бросаетъ вызовъ традиціямъ, условности и вообще старымъ формамъ буржуазной жизни. А уже общеизвѣстна связь модернизма съ нитчеанствомъ, съ „богоборчествомъ“ всякаго рода, съ „новымъ религіознымъ сознаніемъ“, съ „проблемой пола“ и иными вполне теоретическими вопросами эпохи „переоцѣнки всѣхъ цѣнностей“.

§ 16. Отражайте вѣрно временное, вѣчное явится само собою.

Я уже отмѣтилъ въ § 14, что стремленіе уловить „моментъ“ было господствующимъ до „недавняго времени“. Тутъ подразумѣвались 1890-ые годы, т. е. первый реакціонный фазисъ „новыхъ теченій“, когда провозвѣстники его, съ усердіемъ, достойнымъ лучшей участи, пустились въ ожесточенную борьбу съ традиціями эпохи Бѣлинскаго и 60-хъ годовъ. Подъ вліяніемъ этого яростнаго стремленія къ сжиганію старыхъ кораблей, стали высказываться сомнѣнія относительно того, слѣдуетъ ли вообще ставить улавливаніе „момента“ въ серьезную заслугу писателю. Стали доказывать, что это старый шаблонъ, который завелся со временъ публицистическихъ истолкованій романовъ Тургенева, что значеніе Тургенева вовсе не въ томъ, что онъ ловилъ „моментъ“, а въ томъ, что онъ, напротивъ того, отразилъ „вѣчныя“ явленія человѣческой жизни—поэзію, любовь и т. д.

Во всемъ этомъ крылось рѣшительнѣйшее недоразумѣніе. Передъ нами простая игра словъ, безъ желанія или умѣнія проникнуть въ ихъ сущность. Кто сомнѣвается въ томъ, что „вѣчное“ важнѣе для искусства, чѣмъ „моментъ“, т. е. временное? Но дѣло-то въ томъ, что „вѣчное“ достигается только внимательнымъ и отчетливымъ изученіемъ той уже, конечно, временной среды, въ которую судьба поставила писателя. Выдающийся писатель, если онъ талантъ настоящій, т. е. человѣкъ, орлинымъ взоромъ проникающій во всѣ сокровенныя подробности окружающей его среды, *не можетъ не ловить момента* по той простой причинѣ, что жизни вообще, *an und für sich*, внѣ времени и пространства, не бываетъ. Если писатель вѣрно исполняетъ великій завѣтъ величайшаго изъ истинныхъ художниковъ — Гете, онъ долженъ „greifen ins volle Menschenleben“, которая ему можетъ быть доподлинно-извѣстна только постольку, поскольку онъ истинный сынъ окружающей его живой дѣйствительности. Писатель, который садится за свой письменный столъ съ цѣлью изобразить одно „вѣчное“, ничего кромѣ сухихъ и безжизненныхъ абстракцій или мертворожденныхъ символовъ не произведетъ. *Вѣчное* получается само собою, если временное изображено художественно, т. е. ярко, правдиво и полно. Въ истинномъ художествѣ дѣло вообще не въ сюжетѣ, а въ его разработкѣ, въ умѣніи придать жизнь избранной темѣ. Подъ кистью истиннаго художника даже простой *портретъ* превращается въ дѣйствительно „вѣчное“ произведение искусства, потому что каждый отдѣльный человѣкъ есть микрокосмъ всего человѣческаго существованія, въ которомъ временныя черты — простыя видоизмѣненія вѣчныхъ. Вотъ почему величайшіе представители всемірной литературы никогда не боялись ни ярко-мѣстнаго, ни временнаго. Что можетъ быть временнѣе и такъ сказать „испанистѣе“ Донъ-Кихота? Кто изъ поэтовъ болѣе былъ сыномъ своего вѣка и даже своихъ *десятильтій*, чѣмъ Данте, котораго и понять невозможно безъ подробнѣйшихъ комментариевъ. Но и Сервантесъ, и Данте глубоко заглянули въ человѣческую душу, которая въ существенныхъ своихъ свойствахъ одна и таже и около полярнаго круга, и около тропиковъ, и оттого ихъ произведенія, окрашенные въ самыя

яркія краски эпохи и мѣстности, стали всемірнымъ достояніемъ.

Наконецъ, остается вспомнить опять старика Гете, котораго мудрено будетъ причислить къ зловредной кликѣ, созданной Бѣлинскимъ, Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, и который тѣмъ не менѣе, *horribile dictu*, сказалъ:

Wer für die Besten *seiner Zeit* gelebt
Der hat gelebt für *alle Zeiten*.

§ 17. Періоды исторіи новѣйшей русской литературы должны быть устанавливаемы соотвѣтственно теоретическимъ лозунгамъ каждой эпохи.

Рѣшающее значеніе теоретической мысли, какъ указательницы путей, по которымъ съ такою готовностью шло наше художественное творчество, должно существеннымъ образомъ отразиться и на литературной исторіографіи. Мнѣ представляется, что періоды исторіи новѣйшей русской литературы должны быть установлены *соотвѣтственно кругу общественно-этическихъ идей*, въ данные годы получившихъ господство.

Неправильно, въ самомъ дѣлѣ, было бы дѣлить исторію новѣйшей русской литературы по именамъ ея наиболѣе выдающихся художественныхъ дѣятелей.

Если дѣлятъ литературу прежняго времени на періоды— Ломоносовскій, Державинскій, Пушкинскій, то для этого имѣются вѣскія данныя. При малочисленности и незначительности литературной среды и въ малокультурномъ обществѣ индивидуальность талантливаго писателя имѣетъ, понятно, несравненно бѣльшее значеніе.

Ломоносовъ, Державинъ и Пушкинъ держали въ свое время скипетръ литературы, правили безраздѣльно литературнымъ движеніемъ и сообщали ему окраску, которая исходила только изъ ихъ произведеній. Но какъ и какіе годы мы назовемъ Тургеневскими, когда не онъ создавалъ настроеніе читающей публики, а имѣлъ успѣхъ потому, что отражалъ „моментъ“, т. е. попадалъ въ это настроеніе, подготовленное теоретическою мыслью. Какъ только онъ въ началѣ 1860-хъ годовъ не попалъ въ настроеніе, значитель-

нѣйшая и наиболѣе вліятельная часть публики отъ него отвернулась. Какой же это вождь? И другіе сверстники Тургенева точно также никогда не создавали настроеній, а только подчинялись имъ и выражали ихъ.

Ужъ на что славенъ и великъ въ наши дни Толстой, и, все таки, назвать его именемъ какъ *художника* какой бы то ни было періодъ нѣтъ возможности. Толстой-мыслитель, конечно, одинъ изъ властителей думъ XIX вѣка, но въ годы созданія величайшаго художественнаго произведенія своего— „Войны и міра“, онъ былъ не болѣе какъ предметомъ очень холоднаго любопытства. А въ годы появленія „Анны Карениной“ Толстой прямо подвергался высмѣиванію, потому что и критика, и публика совершенно проглядѣли внутренней смыслъ романа и усмотрѣли въ немъ апофеозъ велико-свѣтскихъ амуровъ. Легендарная популярность Толстого начинается только съ тѣхъ поръ, какъ онъ самъ выступилъ въ качествѣ теоретика и воплотилъ въ своихъ тревожныхъ исканіяхъ больную совѣсть вѣка.

Такъ же, какъ нельзя установить періоды исторіи новѣйшей русской литературы, по именамъ крупнѣйшихъ художественныхъ представителей ея, нельзя дѣлать ея и по литературнымъ стилямъ. Какъ уже было указано выше, движенія въ сферѣ чисто-литературной почти не было, смѣну литературнаго стиля мы наблюдаемъ только теперь. Съ 1840-хъ годовъ безраздѣльно установился реализмъ того типа, о которомъ я говорилъ вначалѣ. Дальнѣйшей эволюціи долго не было. Литературныя традиціи великой плеяды писателей 1840-хъ годовъ въ теченіе полувѣка были законодательными для русскаго литературнаго вкуса.

Итакъ, ни по именамъ ея выдающихся *художественныхъ* силъ, ни по чисто-литературнымъ направленіямъ исторію новѣйшей русской литературы нашей дѣлать нельзя, потому что такое дѣленіе не даетъ характерныхъ признаковъ. Единственное, дѣйствительно характеристичное дѣленіе, т. е. такое, которое уже въ одномъ названіи носитъ свое опредѣленіе и даетъ представленіе объ основныхъ чертахъ—это только дѣленіе по *кругу идей*, въ данный періодъ завладѣвшихъ умами, и по именамъ представителей *теоретической мысли*. Если вы скажете—это было въ годы русскаго геге-

ліанства, въ эпоху реформъ, въ годы, вульгарно называемые эпохою „нигилизма“, въ эпоху писаревщины, въ эпоху народничества, марксизма и т. д., то представленіе получается яркое и опредѣленное, обнимающее весь комплексъ, какъ общественныхъ, такъ и литературныхъ явленій извѣстнаго періода.

§ 18. Духовная красота Бѣлинскаго какъ лозунгъ всей послѣдующей литературы. Завѣщанная имъ борьба за правду.

Эпоха, которою начинается исторія новѣйшей русской литературы, т. е. конецъ тридцатыхъ и сороковые годы наши наиболѣе яркое выраженіе въ дѣятельности Бѣлинскаго. И его именемъ по всей справедливости слѣдуетъ называть эту эпоху, потому что въ немъ она получила наиболѣе яркое выраженіе свое.

Но не только для сороковыхъ годовъ имя Бѣлинскаго является лозунгомъ. Бѣлинскій, несомнѣнно, краеугольный камень всей вообще новой русской литературной мысли. Бѣлинскій — первоисточникъ всего великаго, хорошаго, эстетически-вѣрнаго и этически-правильнаго, что было въ русской литературѣ послѣдующихъ лѣтъ.

Понятно, что всего ярче должно было сказаться вліяніе Бѣлинскаго въ годы его непосредственнаго воздѣйствія. Критика Бѣлинскаго была средоточіемъ русской мысли своего времени, энциклопедіей русскаго ума и чувства. Она захватывала все, что интересовало лучшихъ людей эпохи, она старалась, на сколько было возможно, отвѣчать на всѣ проклятые вопросы, которые возникали въ душѣ чуткаго человѣка. Вытекая изъ пламеннѣйшаго стремленія передать читателю выношенные путемъ истиннаго страданія идеалы, статьи Бѣлинскаго, его „обзоры“ всегда имѣли въ своей основѣ ту руководящую идею, которая была нервомъ времени. Оттого они прокладывали новые пути въ литературѣ и создавали школу.

Правда, кругъ идей, въ защиту которыхъ выступалъ Бѣлинскій, далеко не однороденъ. Дѣятельность его представляетъ собою смѣну двухъ, порою діаметрально-противоположныхъ настроеній. Но по существу раздвоенія тутъ ни-

какого нѣтъ. Все дѣло въ томъ, что передъ нами муки рожденія, болѣзненный процессъ выработки новой русской мысли. Въ послѣдующія эпохи, въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, вожди поколѣній не переживали никакихъ „фазисовъ“, не терзались никакими сомнѣніями, и дѣятельность ихъ однородна на всемъ своемъ протяженіи. Это потому, что отправная точка была найдена въ эпоху Бѣлинскаго, и можно было, не сбиваясь, идти впередъ по пути, уже твердо и опредѣленно намѣченному. Бѣлинскому же пришлось пробираться ощупью, сквозь предразсвѣтную мглу, и если онъ при этомъ бросался на болотный огонекъ, принимая его за путеводную звѣзду и попадалъ въ трясины, то тутъ только фактическая ошибка и нѣтъ никакого измѣненія въ самомъ главномъ—въ источникахъ исканія. Но по отношенію къ нимъ Бѣлинскій никакихъ „фазисовъ“ не переживалъ и всегда оставался все тѣмъ-же беззавѣтнымъ искателемъ истинныхъ задачъ чело-вѣческаго существованія.

И въ сущности значеніе Бѣлинскаго и ослѣпительная красота его духовной личности не столько въ идеяхъ и взглядахъ его, какъ они ни вѣрны и глубоки сами по себѣ, сколько именно въ его мучительныхъ поискахъ истины. Самое содержаніе идей Бѣлинскаго далеко не ему одному принадлежитъ. Оно выработано совмѣстными усиліями цѣлаго кружка, въ которомъ Бѣлинскому очень часто принадлежала только роль выразителя. Но это нимало не умаляетъ его значенія, потому что заслуга всякаго генія обыкновенно въ томъ и заключается, что онъ завершаетъ цѣлый рядъ подготовительныхъ, неяркихъ попытокъ, что онъ даетъ имъ выпуклость и яркость. Главная заслуга Бѣлинскаго не въ томъ, что онъ лично додумался до всѣхъ идей, имъ высказанныхъ, а въ томъ, что онъ провелъ ихъ сквозь горнило сожигавшаго его внутренняго пламени и сообщилъ имъ отпечатокъ своей идеально-прекрасной личности.

И тутъ мы подходимъ къ тому, что дѣлаетъ имя Бѣлинскаго священнымъ для всѣхъ эпохъ русской литературы.

Непреходящее вліяніе статей Бѣлинскаго зиждется на томъ, что въ нихъ слышно бѣеніе сердца, безспорно, одного изъ самыхъ благородныхъ, когда-либо бившихся въ русской

груди, что въ нихъ сказалась ни кѣмъ другимъ не достигнутая высота настроенія, сила и глубина чувства. Великій праведникъ литературы русской, рыцарь безъ страха и упрека, на свѣтлой памяти котораго нѣтъ ни единого самомалѣйшаго пятнышка, Бѣлинскій былъ вмѣстѣ съ тѣмъ великимъ страстотерпцемъ новой русской мысли. Онъ глубоко выстрадалъ свои убѣжденія и, въ полномъ смыслѣ слова, писалъ лучшею кровью своего сердца. Онъ первый сдѣлалъ основнымъ стремленіемъ литературы *борьбу за правду*.

И главная задача историка русскаго литературнаго движенія—ознакомить читателя съ тѣмъ, какъ исполнялся великій завѣтъ Бѣлинскаго, показать, какъ на основѣ его содалась новѣйшая русская литература — это удивительное сочетаніе художественной красоты и нравственной силы, широкаго размаха и тоски по идеалу.

1885—1897—1910.

II.

Побѣдители или побѣжденные?

(О модернизмѣ).

СОДЕРЖАНІЕ.

§ 19. Модернизмъ синтетическій. § 20. Реакціонный періодъ декадентства. Кризисъ декадентства подъ вліяніемъ успѣховъ освободительнаго движенія. § 21. Новыя религіозныя исканія и религія добра. § 22. Синтезъ новаго стиля и старыхъ завѣтовъ русской литературы въ творчествѣ Чехова, Горькаго и Леонида Андреева. § 23. Поворотъ къ жизни у Брюсова и Бальмонта. Страдальческія настроенія у Сологуба. Религіозный анархизмъ Мережковскаго. § 24. *Schöne Seelen*. § 25. Психологическія отличія второго поколѣнія модернистовъ. § 26. Живъ призывъ къ подвигу.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 1
2. Глава I. Общие сведения 10
3. Глава II. Описание 20
4. Глава III. Описание 30
5. Глава IV. Описание 40
6. Глава V. Описание 50
7. Глава VI. Описание 60
8. Глава VII. Описание 70
9. Глава VIII. Описание 80
10. Глава IX. Описание 90
11. Глава X. Описание 100
12. Глава XI. Описание 110
13. Глава XII. Описание 120
14. Глава XIII. Описание 130
15. Глава XIV. Описание 140
16. Глава XV. Описание 150
17. Глава XVI. Описание 160
18. Глава XVII. Описание 170
19. Глава XVIII. Описание 180
20. Глава XIX. Описание 190
21. Глава XX. Описание 200
22. Глава XXI. Описание 210
23. Глава XXII. Описание 220
24. Глава XXIII. Описание 230
25. Глава XXIV. Описание 240
26. Глава XXV. Описание 250
27. Глава XXVI. Описание 260
28. Глава XXVII. Описание 270
29. Глава XXVIII. Описание 280
30. Глава XXIX. Описание 290
31. Глава XXX. Описание 300
32. Глава XXXI. Описание 310
33. Глава XXXII. Описание 320
34. Глава XXXIII. Описание 330
35. Глава XXXIV. Описание 340
36. Глава XXXV. Описание 350
37. Глава XXXVI. Описание 360
38. Глава XXXVII. Описание 370
39. Глава XXXVIII. Описание 380
40. Глава XXXIX. Описание 390
41. Глава XL. Описание 400
42. Глава XLI. Описание 410
43. Глава XLII. Описание 420
44. Глава XLIII. Описание 430
45. Глава XLIV. Описание 440
46. Глава XLV. Описание 450
47. Глава XLVI. Описание 460
48. Глава XLVII. Описание 470
49. Глава XLVIII. Описание 480
50. Глава XLIX. Описание 490
51. Глава L. Описание 500
52. Глава LI. Описание 510
53. Глава LII. Описание 520
54. Глава LIII. Описание 530
55. Глава LIV. Описание 540
56. Глава LV. Описание 550
57. Глава LVI. Описание 560
58. Глава LVII. Описание 570
59. Глава LVIII. Описание 580
60. Глава LIX. Описание 590
61. Глава LX. Описание 600
62. Глава LXI. Описание 610
63. Глава LXII. Описание 620
64. Глава LXIII. Описание 630
65. Глава LXIV. Описание 640
66. Глава LXV. Описание 650
67. Глава LXVI. Описание 660
68. Глава LXVII. Описание 670
69. Глава LXVIII. Описание 680
70. Глава LXIX. Описание 690
71. Глава LXX. Описание 700
72. Глава LXXI. Описание 710
73. Глава LXXII. Описание 720
74. Глава LXXIII. Описание 730
75. Глава LXXIV. Описание 740
76. Глава LXXV. Описание 750
77. Глава LXXVI. Описание 760
78. Глава LXXVII. Описание 770
79. Глава LXXVIII. Описание 780
80. Глава LXXIX. Описание 790
81. Глава LXXX. Описание 800
82. Глава LXXXI. Описание 810
83. Глава LXXXII. Описание 820
84. Глава LXXXIII. Описание 830
85. Глава LXXXIV. Описание 840
86. Глава LXXXV. Описание 850
87. Глава LXXXVI. Описание 860
88. Глава LXXXVII. Описание 870
89. Глава LXXXVIII. Описание 880
90. Глава LXXXIX. Описание 890
91. Глава LXXXX. Описание 900
92. Глава LXXXXI. Описание 910
93. Глава LXXXXII. Описание 920
94. Глава LXXXXIII. Описание 930
95. Глава LXXXXIV. Описание 940
96. Глава LXXXXV. Описание 950
97. Глава LXXXXVI. Описание 960
98. Глава LXXXXVII. Описание 970
99. Глава LXXXXVIII. Описание 980
100. Глава LXXXXIX. Описание 990
101. Глава LXXXXX. Описание 1000

.....

§ 19. Модернизмъ синтетическій.

Въ предисловіи къ настоящему тому было уже сказано, что первый этюдъ, въ основѣ свой, представляетъ собою лекцію, прочитанную въ 1897 г.

Но главные тезисы его были формулированы еще раньше— въ 1885 г., въ предисловіи въ моей безвременно-погибшей „Исторіи новѣйшей русской литературы“, столь безжалостно и по нынѣшнимъ временамъ столь безвинно сожженной цензурою ¹⁾.

Итакъ, четверть вѣка отдѣляетъ мою схему хода новой русской литературы отъ литературнаго движенія нашихъ дней. За эти 25 лѣтъ въ общественной жизни и въ литературѣ все стало совершенно по иному. Условія, люди, лозунги, настроенія, приемы измѣнились до неузнаваемости. Исчезла вся прежняя прямолинейность, вся простота общественно-литературныхъ схемъ, все усложнилось, спуталось, перемѣшалось. И если къ этому прибавить грандіозныя событія, которыми ознаменована политическая исторія послѣднихъ лѣтъ, то можно прямо сказать, что произошли не то что перемѣны, а совершился какой-то геологическій переворотъ.

Главные посылки, на которыхъ я строилъ свои выводы, теперь приняли совсѣмъ иныя очертанія.

Я говорилъ тогда о русскихъ общественныхъ настроеніяхъ какъ о „великой потенціи“. Теперь эта великая потенція стала великимъ фактомъ (ср. § 3).

Я говорилъ о реализмѣ французскихъ натуралистовъ какъ о послѣднемъ и властномъ словѣ западно-европейскихъ литературныхъ настроеній. Теперь реализмъ уже отошелъ въ область преданій, уступивъ мѣсто діаметрально-противоположнымъ настроеніямъ.

¹⁾ Въ другомъ мѣстѣ разскажу эту любопытную страничку изъ исторіи дореволюціоннаго произвола. Ср. т. VII настоящихъ сочиненій.

Ограничиваясь сравненіемъ литературныхъ поколѣній 1840-хъ и 1870-хъ годовъ, я устанавливалъ, что „между Тургеневымъ и его литературнымъ внукомъ Гаршинымъ разницы въ стилѣ нѣтъ“. Подчеркивалъ я также, что нѣтъ разницы въ стилѣ между Некрасовымъ и Надсономъ, несмотря на то, что ихъ литературные дебюты отдѣлены другъ отъ друга рядомъ десятилѣтій.

Въ этихъ предѣлахъ моя мысль о сравнительной неподвижности русскаго литературнаго стиля остается, конечно, въ полной силѣ.

Но затѣмъ началась и неизбежная эволюція. И теперь мы присутствуемъ при томъ, какъ смѣна литературнаго стиля, начало которой положено Чеховымъ, развиваясь все стремительнѣе и стремительнѣе, привела, наконецъ, къ полному упраздненію литературныхъ приемовъ, созданныхъ поколѣніемъ 40-хъ годовъ.

Прежняя, скажемъ для ясности — Тургеневская, манера совершенно исчезла въ русской прозѣ и ею почти всецѣло завладѣли схематизація, символизація и импрессионизмъ всякаго рода.

То же самое въ поэзіи. Можно какъ угодно относиться къ Бальмонту, Брюсову, Блоку, новѣйшимъ „миотворцамъ“, но кто желаетъ считаться съ реальными фактами, тотъ долженъ констатировать, что эта новая поэзія теперь господствуетъ и что она привила совершенно новые приемы, новый слогъ и даже новые метры.

Отъ новаго стиля естествененъ переходъ къ „новымъ теченіямъ“ въ ихъ совокупности.

Формулировавъ свои мысли въ 1885 году, но выступая съ ними 12 лѣтъ спустя, я не могъ игнорировать уже опредѣленно обрисовавшееся тогда „декадентство“. Это печальной памяти издѣвательство надъ всѣмъ, что искони было дорого русскому литературному сознанію, эти печальнѣйшія попользовенія во имя „красоты“ и фальсифицированнаго „идеализма“ подкопаться подъ героическій духъ русскаго общественнаго аскетизма, не захватили еще въ срединѣ 1890-хъ гг. сколько-нибудь значительнаго круга послѣдователей.

Въ 1897 году я поэтому имѣлъ полное право сказать,

что „нѣскольکو невліятельныхъ, второстепенныхъ, а главное неискреннихъ дарованій увлеклось французскимъ символизмомъ“. Изъ отцовъ русскаго декадентства Мережковскій въ срединѣ 90-хъ годовъ не выступалъ еще со своими критическо-религіозными писаніями, которыя создали ему большое имя и... такъ блистательно свели къ нулю всю его прежнюю проповѣдь безпечальнаго артистизма. Въ искренности большинства другихъ пионеровъ декадентства, повидимому, и теперь мало кто убѣжденъ. А что касается Балмонта и Брюсова, то опять-таки въ срединѣ 90-хъ годовъ не было данныхъ предугадать, что ихъ таланты получаютъ позднѣйшій свой блескъ и силу.

Но съ тѣхъ поръ соотношеніе новыхъ и старыхъ литературныхъ теченій радикально измѣнилось.

Теперь тотъ ансамбль новыхъ литературныхъ и художественныхъ настроеній, который можно было бы для краткости назвать „модернизмомъ“, захватилъ значительное количество новыхъ литературныхъ силъ.

Правда, по отношенію къ лучшей его части можно примѣнить слова старообрядческаго адреса Александру II: „Въ твоей новизнѣ старину мы видимъ“. Въ дѣйствительности, модернисты и символисты въ теперешней своей дѣятельности *не побѣдители, а побѣжденные*. Теперешній модернизмъ, съ его склонностью останавливаться, главнымъ образомъ, на *трагической* сторонѣ жизни, этимъ самымъ категорически отказался отъ того, что дѣлало ненавистнымъ равнодушное къ страданію декадентство. Теперешній модернизмъ, который поэтому я и предлагаю назвать модернизмомъ *синтетическимъ*, — направленіе, соединившее въ себѣ основное зерно исконныхъ, героическихъ традицій русской литературы съ естественнымъ исканіемъ новыхъ литературныхъ формъ.

Но такъ-то, со стороны глядя, можно думать, что „новыя теченія“ захватили все, что есть въ современной литературѣ колоритнаго и свѣжаго.

Отмѣтивъ всѣ эти измѣненія съ объективностью, приличествующею историку, не желающему закрывать глаза на дѣйствительность, я неизбежно долженъ задать себѣ вопросъ: а не повліяли ли столь крупныя перемѣны на общую схему, устанавливаемую въ лекціи? Остается ли, по-преж-

нему, русская литература тою каедрою, съ которой раздается учительное слово? Не отодвинулись ли въ литературѣ послѣдней четверти вѣка на второй планъ интересы нравственно-политическіе? Попрежнему ли наша литература есть выраженіе тоски русской души по нравственному подвигу?

На этотъ вопросъ *теперь* можно отвѣтить вполне категорически: опасность миновала. „Новыя теченія“ въ своемъ теперешнемъ видѣ не угрожаютъ никакой опасностью исконнымъ традиціямъ русской литературы и являются однимъ изъ органическихъ звеньевъ великой цѣпи.

Нужно только твердо помнить, что есть два совершенно непохожихъ между собою момента исторіи модернизма, что первоначальное „декадентство“ — конца 80-хъ и 90-хъ гг. совсѣмъ не то, что „модернизмъ“ нашихъ дней. Нужно помнить, что огромный приливъ общественной бодрости, выразившійся, съ одной стороны, въ марксизмѣ середины 90-хъ годовъ, произвелъ также коренную перемѣну въ общественно-политическихъ настроеніяхъ наиболѣе талантливыхъ представителей „новыхъ теченій“. Получился, благодаря этому, синтезъ *новой формы и стараго содержанія*, который и сообщилъ русскому „модернизму“ совсѣмъ отличную отъ первоначальнаго декадентства окраску.

§ 20. Реакціонный періодъ декадентства.

Я уже отмѣтилъ въ § 11, что русское декадентство зародилось въ черные дни Побѣдоносцевщины и что въ унисонъ съ Побѣдоносцевщиной, декадентство повело ожесточенную борьбу съ дѣятелями и идеями 60-хъ годовъ.

Указывалъ я тамъ-же на тлетворное стремленіе декадентства затупить тоску по подвигу, которая придаетъ такую безсмертную красоту лучшимъ созданіямъ русскаго слова. Альтруизму былъ противопоставленъ эгоизмъ, какъ начало вполне равноцѣнное.

Само по себѣ мощное движеніе западно-европейскаго индивидуализма на русской почвѣ превратилось частью въ смѣхотворный культъ разныхъ доморощенныхъ сверхчеловѣчковъ, частью въ демонстративное глумленіе надъ аскетическою сущностью русской общественности. Пишется книга

Минскаго „При свѣтѣ совѣсти“, гдѣ, съ одной стороны, осью міра объявляется тщеславіе, а съ другой—кладется основаніе ученію, по которому „нѣтъ двухъ путей: добра и зла—есть два пути добра“: все, значить, превосходно устроено въ мірѣ семъ. Соотвѣтственно этому, тотъ же недавній ярко-„гражданскій“ поэтъ провозглашаетъ, ни больше ни меньше, что господствовавшій до нарожденія „новыхъ“ декадентско-символистическихъ настроеній „духъ гнѣва и печали омрачалъ русскую поэзію, горѣлъ на ней какъ чумное пятно“. Тогда же провозглашается формула Зинаиды Гиппіусъ: „Люблю себя, какъ бога“. Появляются первыя части трилогіи Мережковскаго, въ которыхъ великая и глубоко-выстраданная душевная трагедія Ницше: его вражда къ христіанской морали и стремленіе стать „по ту сторону добра и зла“ превратились въ насмѣшливое вышучиваніе и яркое подчеркиваніе полной свободы „истиннаго“ искусства отъ нравственно-политическихъ задачъ. Съ явнымъ злорадствомъ показываетъ Мережковскій, какъ для великаго художника Леонардо-да-Винчи совершенно безразлично приложеніе его великаго генія: онъ съ тѣмъ же артистическимъ воодушевленіемъ строитъ храмъ и домъ терпимости, придумываетъ разныя полезныя изобрѣтенія и такъ называемое „Діонисово ухо“, т. е. шпионское приспособленіе къ подслушиванію политическихъ разговоровъ. Молодые силы декадентства—pour épater le bourgeois—занимаются стихотворными кунштюками: Бальмонтъ забавляется алитеряціями, Брюсовъ живописуетъ „гнѣнь несозданныхъ созданій“, рассказываетъ какъ „всходитъ *мѣсяцъ* обнаженный при лазоревой *лунѣ*“ и сочиняетъ знаменитое по своему демонстративному глумленію надъ читателемъ однострочное стихотвореніе

О, закрой свои блѣдныя ноги.

Примыкаетъ къ движенію и часть молодыхъ художниковъ, и журналъ „Міръ Искусства“ становится главнымъ штабомъ всѣхъ „новыхъ теченій“ вообще. Со свойственной художникамъ непосредственностью они прямо и понимаютъ „декадентство“ и „символизмъ“ какъ проповѣдь безмысленнаго артистизма, категорически отказывающагося отъ всякихъ тревожныхъ сомнѣній. Талантливый провозвѣстникъ русскаго

художественнаго декадентства, Александръ Бенуа, въ своей „Исторіи русской живописи“ такъ прямо и радовался тому, что въ 80-хъ годахъ была отнята и „послѣдняя надежда на участіе въ государственномъ переустройствѣ“; благодаря этому, всѣ „мало-по-малу охладѣли къ *суетнымъ вопросамъ политики*, и послѣ двадцатилѣтней бури наступило надолго почти полное умиротвореніе“. Пророчество вышло не изъ особенно удачныхъ, и самое забавное—черезъ 4 года тотъ же кружокъ „Міра Искусства“ успѣшилъ проникнуться „суетными вопросами политики“ и, честь-честью, продѣлалъ все то, что въ дни торжества этихъ „суетныхъ вопросовъ“ полагалось: былъ основанъ союзъ художниковъ съ политическими задачами, говорились „освободительныя“ рѣчи и т. д. Но эта-то наивная откровенность Александра Бенуа и драгоцѣнна для историка: въ данномъ случаѣ важна та обнаженность реакціонной закваски декадентства, признать которую совѣстились нѣкоторые изъ болѣе хитроумныхъ провозвѣстниковъ его.

Сводя къ опредѣленной формулировкѣ декадентскую переоцѣнку цѣнностей недавняго прошлаго, мы приходимъ къ заключенію:

Аморализмъ и аполитизмъ—вогь въ чемъ сущность русскаго „декадентства“ и „символизма“. Настаиваю на томъ, что только эти два свойства и характеризуютъ декадентство, потому что то, что составляетъ самое осязательное выраженіе „новыхъ теченій“—новый стиль—выработанъ не въ эпоху зарожденія декадентства. *Модернистскій стиль* выработанъ вторымъ поколѣніемъ. Зачинатели—Минскій, Мережковскій, даже Гиппіусъ и Брюсовъ—пишутъ въ старой манерѣ по преимуществу.

Но что значить, при русскихъ условіяхъ, аполитизмъ и аморализмъ? При русскихъ условіяхъ не призывать къ нравственному подвигу и дѣятельному противодѣйствію—значило узаконивать „россійскую дѣйствительность“ во всемъ ея объемѣ и въ самой активной формѣ. Къ тому же нѣкоторые главари декадентства не останавливались и передъ тѣмъ, чтобы не только косвенно, но и непосредственно узаконивать. Въ предисловіи ко 2-й части своей книги о Достоевскомъ,

Мережковскій, съ восторгомъ указывая на мистическую природу самодержавія, настойчиво подчеркивалъ, что „идея самодержавія, по существу своему, не терпитъ никакихъ ограниченій; она безусловна, какъ всѣ вообще религіозныя идеи“.

§ 21. Кризисъ декадентства подѣ вліяніемъ успѣховъ освободительнаго движенія.

Въ § 12 было уже указано, что въ своихъ попыткахъ свернуть русское самосознаніе съ его великаго историческаго пути декадентство приблизилось къ роковой грани. Аморализмъ и угодливый аполитизмъ представляютъ собою такое издѣвательство надъ всѣмъ тѣмъ, чѣмъ сильна русская литература, что неизбѣжно долженъ былъ назрѣть внутренній кризисъ. И ярко выявивъ свою противообщественную и противонравственную природу, декадентство круто сворачиваетъ въ противоположную сторону.

Конечно, не въ одномъ внутреннемъ кризисѣ тутъ было дѣло. Вожди русскаго декадентства, въ общемъ, слишкомъ неискренніе люди, чтобы слушаться одного только внутреннего голоса.

Окончательно опрокинули декадентство мощныя волны освободительнаго движенія. Кончился наиболѣе острый періодъ Побѣдоносцевщины, и поблекло сразу въ декадентствѣ то, что въ немъ было аморальнаго и аполитичнаго. „Новыя теченія“ неудержимо начинаютъ тянуть къ великой борьбѣ русской интеллигенціи за освобожденіе. При первыхъ-же серьезныхъ проявленіяхъ того, что общественная апатія кончилась, теряетъ свой реакціонный характеръ и декадентство.

Воздѣйствіе политическаго возрожденія конца вѣка на аполитическія „новыя теченія“ шло разными путями.

Съ одной стороны, происходило взаимодѣйствіе чисто-органическое и потому, конечно, наиболѣе плодотворное. Такое органическое взаимодѣйствіе можно прослѣдить въ творествѣ самаго даровитаго изъ нашихъ модернистовъ — Бальмонта. Поэта, ушедшаго отъ печали земли въ свѣтлую область „Безбрежнаго“ и якобы отрѣшившагося отъ всего „конечнаго“, своеобразно, но весьма ярко захватываетъ тотъ

подъемъ, который сказался въ марксизмѣ и гордомъ вызовѣ Максима Горькаго.

Рядомъ съ этимъ, почти безсознательнымъ, переломомъ творческихъ настроеній, переломъ въ декадентствѣ идетъ и путемъ колебанія самой теории изящнаго наслажденія жизнью и беспечальнаго эстетизма. Недавніе аморалисты Мережковскій и Гишпіусъ особымъ манифестомъ, который такъ и называется: „Мы и вы“, торжественно рвутъ отношенія со вчерашними друзьями по „Міру Искусства“ и заявляютъ, что одинъ эстетизмъ не удовлетворяетъ ихъ душевнаго голода, что въ жизни и искусствѣ они хотятъ отвѣта на запросы иного порядка. Мережковскій же становится душою „Религіозно-философскихъ собраній“. Затѣяны были, правда, собранія, вкупѣ съ высшимъ духовенствомъ, съ цѣлью обратить позитивистскую интеллигенцію на путь „религіи“. Но эта положительная часть программы какъ-то сама собою испарилась, и собранія быстро превратились въ одну изъ ячеекъ освободительнаго движенія, гдѣ почти вся энергія дебатовъ сосредоточилась на изобличеніи правительственнаго гнета въ дѣлахъ вѣры. Вчерашніе аполитики превратились, такимъ образомъ, въ самыхъ активныхъ политиковъ.

Одинъ изъ излюбленныхъ лозунговъ декадентства и реакціоннаго индивидуализма—„бунтъ личности“ противъ общественности принимаетъ теперь совсѣмъ инныя очертанія. Такъ, нѣсколько позже, изъ кружка одного изъ наиболѣе симпатичныхъ представителей „новыхъ теченій“—Вячеслава Иванова, исходитъ цѣлое ученіе о „соборномъ индивидуализмѣ“ и „мистическомъ анархизмѣ“. Правда, о „мистическомъ анархизмѣ“ трудно говорить безъ улыбки. Это нѣчто въ родѣ нестрѣляющаго пистолета или, того вѣриѣе, кондитерскаго пистолета изъ шоколада. Но, все-таки, очень знаменательно самое желаніе именоваться страшнымъ словомъ. Настроеніе сказывается во всемъ, и развѣ не характерно, что прежде „новыя теченія“ создали мистическое оправданіе *самодержавія*, а теперь сочинили мистическій *анархизмъ*?

Чѣмъ шире разрасталось освободительное движеніе, тѣмъ тѣснѣе и тѣснѣе, какъ было отмѣчено въ § 12, къ нему примыкали недавніе активные и пассивные апологеты самодержавія и аполитики. Во всѣхъ выступленіяхъ интелли-

генціи главари „новыхъ теченій“ принимаютъ такое-же участіе, какъ и тѣ, которыхъ они такъ недавно упрекали въ партійной ограниченности, которыхъ вышучивали за то, что они любовь къ „ближнему“ предпочитали любви къ „дальнему“.

Но кульминаціоннаго пункта полная сдача декадентскаго аполитизма достигаетъ въ дни наибольшаго напряженія освободительной борьбы. Нѣкогда Минскій претендовалъ на печальное титуло отца русскаго декадентства; затѣмъ онъ предъ лицомъ петербургскихъ архіереевъ сокрушался о паденіи вѣры и въ своей „Религіи будущаго“ доказывалъ, что социаль-демократизмъ есть пошлость и нравственное мѣщанство. А теперь, съ наступленіемъ реальныхъ „дней свободы“, онъ становится не только социаль-демократомъ, не только „большевикомъ“, но самымъ крайнимъ изъ „большевиковъ“. Савль превращается въ Павла, который „борьбу классовъ“ понялъ въ прямомъ и непосредственномъ смыслѣ слова. Пишется поистинѣ канибальскій „Гимнъ рабочихъ“:

Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
Въ бой послѣдній, какъ на праздникъ, снаряжайтесь
Кто не съ нами, тотъ нашъ врагъ, тотъ долженъ пасть.

Когда „изъ развалинъ, изъ пожарницъ“ возникнетъ „искупленный новый міръ“, будетъ накрытъ большой столъ:

Кто работникъ, къ намъ за столъ! Сюда, товарищъ!
Кто хозяинъ, съ мѣста прочь! Оставь нашъ пиръ!
Братья-друзи! Счастьемъ жизни опьяняйтесь.
Наше все, чѣмъ до сихъ поръ владѣеть врагъ.

§ 21. Новая религіозная исканія и религія добра.

Постараемся отнестись вполне корректно къ этой, по мнѣнію многихъ, печальной сторонѣ перелома декадентства, къ этому, по мнѣнію многихъ, недостойному бѣганію за колесницей того, что въ серьезъ показалось триумфаторомъ. Возьмемъ переломъ настроенія нашего эллинско-вакхическаго декадентства съ самой симпатичной его стороны — въ области религіозныхъ исканій. То, что теперь принято обозначать однимъ общимъ наименованіемъ „религіозныхъ

исканій“, въ дѣйствительности—нѣчто крайне разнородное. Тутъ и люди искренніе, и люди безусловно неискренніе, тутъ и настоящая глубина, тутъ и простое бѣганье за модой. Достаточно констатировать, что въ лагерь „религіозныхъ исканій“ числятся и бывшіе марксисты и нововременцы, и остающіеся въ рядахъ партіи эсъ-деки и люди, совершенно разувѣрившіеся въ освободительномъ движеніи, чтобы стало ясно, до какой степени все это пестро и разношерстно.

Но для насъ въ данномъ случаѣ совсѣмъ и нѣтъ надобности анализировать и разбираться въ различныхъ религіозно-философскихъ построеніяхъ нашихъ новоявленныхъ мистиковъ, между которыми, увы, столь значителенъ процентъ простыхъ мистификаторовъ. Для насъ важно одно—и искреннія религіозныя исканія и поддѣлки подъ нихъ возвращаютъ русскую мысль въ старую, испоконъ вѣка ему родную область религіи добра, въ область *мистицизма активнаго*.

Да, мистицизма. Мистицизма доподлиннаго, такъ какъ религія добра, которую исповѣдуетъ „атеистическая“ русская интеллигенція въ основѣ своей имѣетъ ничѣмъ рационалистическимъ недоказуемое, основанное исключительно на внутреннемъ мистическомъ порывѣ, желаніе быть добрымъ, а не злымъ.

И это-то, конечно, и есть настоящая религія.

Вѣдь только люди, судящіе о вещахъ по наклееннымъ на нихъ этикеткамъ, могутъ серьезно думать, что русское передовое движеніе антирелигіозно.

Религіозность — понятіе до такой степени дискредитированное у насъ клерикализмомъ, за грубо-языческой мнимою „религіозностью“ опредѣленнаго типа скрываются у насъ столько насильниковъ и корыстолюбцевъ, столько скверны у насъ творится во имя якобы „религіи“, что нравственно-чуткому человѣку не хочется и слово-то это произносить. Но возьмите понятіе религіи въ его настоящемъ значеніи, т. е. въ смыслѣ ясной, органически-сознаваемой связи съ вѣчностью, въ смыслѣ категорическаго императива нравственности, наконецъ въ соединеніи съ основнымъ свойствомъ всякой истинной религіозности — готовности жертвы во имя того, что дорого. И тогда — гдѣ въ мірѣ

имѣются болѣе религіозные люди, чѣмъ русская интеллигенція, чѣмъ русскіе „кающіеся дворяне“?

Религіозность, прежде всего, особый строй души, особая восторженная психическая организація, способная жить исключительно вѣрою въ незыблемую правоту своего убѣжденія. Самое содержаніе вѣрованія ровно никакого значенія не имѣетъ при опредѣленіи степени и силы религіозности. Иначе пришлось бы объявить нерелигіознымъ Лютера, когда въ немъ восторженная и глубокая преданность католицизму смѣнилась столь же глубокою ненавистью къ нему. Религіозенъ всякій, у кого *ею* Богъ не только на языкѣ, но и въ сердцѣ. А въ чемъ онъ видитъ Бога своего — это его дѣло. Какъ *психическій типъ*, ничѣмъ не отличаются между собою добровольный мученикъ за идею формально-религіозную и мученикъ за идею социальную-политическую.

Все дѣло только въ глубинѣ самой вѣры, въ убѣжденіи, что она всеобъемлюща и спасительна. Не нужно придавать никакого значенія тому, какъ человекъ самъ опредѣляетъ свое отношеніе къ религіозности. Настоящая вѣра, та вѣра, которая горами двигаетъ и царства опрокидываетъ, это нѣчто, столь проникающее человека, что ее словесными увѣреніями ни создашь, ни уничтожишь. Вѣра—это столь органическая связь съ будущимъ, съ вѣчностью, столь яркая и живая, что во имя ея вѣрующій жертвуетъ настоящимъ. Религіозенъ всякій энтузіастъ, потому что душа его не знаетъ сомнѣній и трепещетъ въ предощущеніи грядущаго торжества истины. Глубоко-религіозенъ поэтому Бѣлинскій, величайшій энтузіастъ русской литературы XIX вѣка. Столь же глубоко-религіозенъ и Добролюбовъ, который первоначально былъ пламенно-религіозенъ въ церковномъ смыслѣ, а потомъ съ тою же глубиною убѣжденія и восторга выработалъ себѣ міросозерцаніе діаметрально-противоположное. Религіозенъ и отецъ всякаго „безбожества“ Чернышевскій, потому что онъ былъ полонъ вѣры въ спасительность своего утопизма и потому что онъ создалъ вполне мистическое, несмотря на забавное стремленіе устранить внѣшнюю идеалистическую окраску, ученіе о „разумномъ эгоизмѣ“. Авторъ этой теоріи, видите ли, потому хочетъ добра людямъ, что это ему „приятно“. Но откуда, однако, столь странный вкусъ

находить „пріятность“ въ томъ, чтобы дѣлать ближнему именно добро, а не высосать изъ него всѣ соки? Какъ такой вкусъ согласовать съ принципомъ, на этотъ разъ доподлинно-немистическимъ, „борьбы за существованіе“ и съ другими „последними словами науки“? Въ дѣйствительности, конечно, въ теоріи Чернышевскаго предъ нами трогательный споръ о словахъ, трогательная стыдливость идеально-прекраснаго и потому самоѣ доподлинно-религіознаго человѣка, который спѣшитъ устранить все то, что давало бы поводъ хвалить его душевную красоту. А вершины религіозности достигли тѣ борцы за благо родины, которые безтрепетно пошли на муки и смерть въ радостномъ сознаніи, что своими страданіями готовятъ почву для торжества своихъ вѣрованій. Въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ борцы за свободу опредѣленно сознавали, что побѣда еще очень далека, что поднимается еще только второй или третій валъ, что до сокрушительнаго девятаго вала имъ и не дожить. Но порывъ былъ неудержимъ, шли не оглядываясь, готовы были погибнуть и незамѣтною частицею этого еще слабаго вала.

И, конечно, тутъ передъ нами уже не просто религіозность, а ступень высшая. Что сказалъ Тургеневъ, человѣкъ совсѣмъ иныхъ убѣжденій, о дѣвушкѣ, обаятельный образъ которой онъ далъ намъ въ „Порогѣ“? И по собственному опредѣленію, и по казенной характеристикѣ она — „невѣрующая“, „безбожница“. Но Тургеневъ ее назвалъ „святой“, потому что святъ всякій, кто кладетъ душу свою за благо ближнихъ своихъ. Въ чемъ онъ видитъ благо—это вопросъ, не имѣющій никакого значенія. Важна только жажда подвига и готовность къ самопожертвованію. И эта жажда жертвы, ничѣмъ рациональнымъ не объяснимая, глубоко сидящая въ области безсознательнаго, и есть мистицизмъ, религіозность доподлинная.

Несмыслаемый грѣхъ ядовитаго пустоцвѣтенія (и оттого-то и пустоцвѣтъ оно) декадентства въ томъ и заключается, что оно хотѣло подкопаться подъ эту истинную, живую религіозность русскаго самосознанія. Эстетизмъ вмѣсто морали, вакхизмъ вмѣсто аскетизма, безразличіе вмѣсто опредѣленнаго и *единственнаго* пути добра,—все это органически чуждо ищущей подвига русской интеллигентской душѣ.

§ 22. Синтезъ новаго стиля и старыхъ завѣтовъ русской литературы въ творчествѣ Чехова, Горькаго и Андреева.

Съ отреченіемъ отъ аморализма и аполитизма, пропала, естественно, вся ненавистная окраска перваго, аморальнаго и аполитическаго періода „новыхъ теченій“. Можно соглашаться или не соглашаться съ Мережковскимъ послѣднихъ лѣтъ, но это, все-таки, исканіе Бога настоящаго, Бога страданій и самопожертвованія. Въ этотъ періодъ своихъ исканій, Мережковскій не остановится передъ тѣмъ, чтобы безтрепетно говорить о сущности патріотизма, о государственности, о русской революціи, съ послѣдовательностью и силою духа, до которой возвышался только одинъ Толстой.

Это возвращеніе „новыхъ теченій“ въ старое русло привело къ важнымъ результатамъ для русскаго литературнаго сознанія. Не могъ не быть плодотворнымъ синтезъ той доли несомнѣнно-цѣнныхъ стремленій, которыя заключали въ себѣ „новыя теченія“ и той основной альтруистической и аскетической сущностью русской литературы, которая придаетъ ей такое неотразимое обаяніе.

Какъ всякій анализъ, критическое отношеніе „новыхъ теченій“ къ „старымъ“ завѣтамъ нашей литературы заключало въ себѣ и много правды.

Подъ могучимъ воздѣйствіемъ Ницше, Ибсена, подѣ влияніемъ интереса къ непознаваемому и недостижимому происходила переоцѣнка всѣхъ цѣнностей и въ томъ числѣ прежней прямолинейности. Препрежне позитивное отмахиваніе отъ всего непостижимаго и недостижимаго не однимъ декадентамъ начинаетъ казаться недостойнымъ бѣгствомъ отъ сложной задачи и малодушіемъ. Вѣчные вопросы о жизни и смерти, о стихійныхъ элементахъ въ человѣкѣ, о любви не только къ ближнему, но и къ дальнему, о таинственныхъ началахъ бытія,—всѣ эти неразрѣшимые, но именно въ своей неразрѣшимости и привлекательныя проблемы снова получаютъ притягательную силу. Простое отраженіе быта и жизни начинаетъ казаться слишкомъ ограниченнымъ, манятъ къ себѣ порывы неясные и неопредѣленные.

Рядомъ съ этою переменною руководящихъ настроеній, естественно назрѣвала та необходимость въ чисто литератур-

ной эволюціи, на которую я уже указывалъ. Для сумеречныхъ чувствъ, для неопредѣленныхъ томленій, для созерцанія отдаленныхъ горизонтовъ прежній, натуралистическій по преимуществу, стиль былъ тѣсенъ. Дымка модернистской манеры ближе подходила къ новой настроенности въ прозѣ. Свободные, часто болѣе музыкальные, чѣмъ пластическіе метры, экзотическая красочность, нарядная красота миеа отвѣчали новой настроенности въ поэзіи.

Новой настроенности, съ ея расширенными горизонтами и утонченной литературной манерой только и нужно было, какъ Антею, приложиться къ землѣ, къ исконнымъ настроеніямъ русской литературы, чтобы получились результаты важные и значительные.

Этотъ синтезъ новаго стиля и болѣе углубленнаго отношенія къ вещамъ сказался и въ литературной дѣятельности писателей, официально ничего общаго не имѣвшихъ съ „новыми теченіями“.

Несомнѣнно, подъ вліяніемъ этого синтеза окончательно сложился Чеховъ, въ высококомъ дарованіи котораго такъ прекрасно сочеталось все то, что было хорошаго въ новыхъ стремленіяхъ съ исконными порывами русской литературы. Создателя новой формы русской прозы, конечно, не одна внѣшняя эволюція вознесла на высшія ступени творчества, а то, что онъ въ эту новую форму облекъ великую русскую тоску.

Не ушелъ отъ новыхъ вѣяній и Горькій. Въ гордой самоувѣренности его, помимо основнаго вліянія подъема общественнаго сознанія 90-хъ годовъ, безспорно сказалось нитчевское представленіе о сверхчеловѣкѣ. Это даже подтверждается данными изъ исторіи его умственнаго развитія. Что касается литературной манеры Горькаго, то, конечно, романтическая окраска ея могла появиться только въ такую эпоху, когда реализмъ поблекъ и создалась потребность отвлечься отъ быта.

Именно въ томъ, что Горькій — романтикъ главная причина, почему онъ такъ бурно завоевалъ симпатіи изныващаго отъ гнета сѣрой обыденщины русскаго читателя. Заражала его гордая и бодрая вѣра въ силу и значеніе личности, отразившая въ себѣ одинъ изъ знаменательнѣйшихъ пере-

воротовъ русской общественной психологіи. Горькій — органическій продуктъ и художественное воплощеніе того индивидуалистическаго направленія, которое приняла европейская мысль послѣднихъ 20-25 лѣтъ. Ничего не значитъ, что герои его рассказовъ — „босяки“ и всяческіе отбросы общества. У Пушкина, въ началѣ его дѣятельности, мѣсто дѣйствія—разбойничьи вертепы и цыганскіе таборы; и однако, это было полнымъ выраженіемъ байронизма, т. е. умственнаго и душевнаго теченія, вышедшаго изъ нѣдръ самыхъ культурныхъ слоевъ самой культурной изъ европейскихъ націй. Нѣтъ ничего необычнаго и въ томъ, что устами босяковъ Горькаго говорила самая новая полоса европейской и русской культуры. Философія этихъ босяковъ—своеобразнѣйшая амальгама жесткаго нитчеанскаго поклоненія силѣ съ тѣмъ безграничнымъ, всепроникающимъ альтруизмомъ, который составляетъ основу русскаго демократизма. Изъ нитчеанства тутъ взята только твѣдость воли, изъ русскаго народолюбія—вся сила стремленія къ идеалу.

Если, при внимательномъ анализѣ, несомнѣнна связь Горькаго съ „новыми теченіями“, то уже внѣ всякаго спора синтезъ новаго стиля и стараго содержанія сказался въ творествѣ Леонида Андреева. Совершенный модернистъ по внѣшнимъ приѣмамъ, онъ наполняетъ душу читателя ужасомъ и съ первокласснымъ мастерствомъ изображаетъ слѣпой кошмаръ жизни, гдѣ мы являемся игрушкой таинственныхъ силъ, неподлежащихъ учету ума нашего. За исключеніемъ первыхъ рассказовъ Андреева, почти все имъ написанное своего рода литературный кошмаръ, гдѣ все мракъ, безысходная тоска или прямое безуміе. Написано все это импрессионистски—безъ ясныхъ, опредѣленныхъ контуровъ, пятнами, еле намѣчающими общее впечатлѣніе, — и вмѣстѣ съ тѣмъ символически, съ тѣмъ сосредоточеніемъ вниманія на одномъ пунктѣ, при которомъ все остается въ тѣни, кромѣ впечатлѣнія, которое авторъ хочетъ неизгладимо оставить въ сознаніи читателя. Дѣйствующія лица двигаются какъ тѣни. Мы часто не знаемъ даже фамиліи ихъ, не знаемъ, кто они, откуда взялись, какъ проходитъ ихъ жизнь.

Невѣдомо откуда и какъ нарастаетъ также неопредѣленное, но острое тревожное настроеніе, подготавливающее всякаго рода

катастрофы. Однимъ изъ главныхъ элементовъ трагедіи человѣческаго существованія творчество Андреева считаетъ взаимное непониманіе, отчужденность, ужасъ одиночества. Этой любимой темѣ новоевропейской символистической литературы посвящены цѣлый рядъ рассказовъ Андреева— „У окна“, „Молчаніе“, „Въ темную даль“ и др. Часто драма одиночества разыгрывается среди людей любящихъ другъ друга, которые могли бы облегчить другъ другу страданія. Но отчужденіе—и то, которое зависитъ отъ людей, и то, которое отъ нихъ не зависитъ,—неумолимо и неотвратно гонитъ къ роковой развязкѣ.

Дыханіе Смерти,—и не отъ человѣка зависящей и добровольной вѣетъ надъ всѣмъ творчествомъ Андреева. Смерть есть всеразрѣшающая развязка жизни и это доступно всякому. Для героевъ Андреева особенно заманчиво изреченіе Заратустры: „Если жизнь не удастся тебѣ, если ядовитый червь пожираетъ твое сердце, знай, что удастся смерть“. И она, конечно, удастся. Къ ужасамъ сознательнаго существованія Андреевъ привлекаетъ не только неодушевленную природу—ночь, которая у него всегда „злая“, разные шумы и страшные шорохи, зловѣщіе пейзажи, огонь и т. д., но и отвлеченныя понятія. Эти понятія онъ превращаетъ въ живыя существа, но какой-то особенной, двойной субстанціи—и аллегорической, и реальной. Одно олицетвореніе непрерывно переходитъ въ другое, исчезаетъ грань между будущимъ, настоящимъ и прошлымъ. Все окутано въ какой-то мистико-аллегорическій туманъ, задача котораго наполнить душу читателя острымъ, живымъ ужасомъ, смѣсью реального съ нереальнымъ, опредѣленнаго съ неопредѣленнымъ. Создается то ощущеніе безформеннаго, но страшнаго именно своею безформенностью кошмара, которое испытывается во снѣ или безуміи, когда невозможно отдѣлить ложь отъ правды. Насквозь проникнутый сознаниемъ ужаса жизни, Андреевъ изъ этого ужаса не исключаетъ любовь, онъ убѣжденъ, что и подъ наружною красотою цвѣтовъ любви скрыта ядовитая змѣя темныхъ и роковыхъ силъ жизни. Значительная часть написаннаго Андреевымъ совершенно опредѣленно относится къ психо-патологіи, являющейся, однако, только символомъ психологіи нормальной. Андреевъ намѣренно стираетъ по-

лосу перехода отъ нормального къ ненормальному. Для него ненормальное—только творческій пріемъ, аналогичный тому, какъ въ логикѣ узаконено доведеніе послѣдовательности до абсурда, съ цѣлью достигнуть наглядности въ освѣщеніи извѣстнаго тезиса. Съ помощью этого пріема онъ въ „Мысли“, напр., старается выразить основное положеніе своего мрачнаго міропониманія—безсиліе наше въ борьбѣ съ неизвѣданными силами жизни. Горда наша „мысль“ своею автономностью, а на самомъ дѣлѣ это одна иллюзія. А показавъ какъ безсильна „мысль“ въ борьбѣ съ неизвѣданными силами окружающаго хаоса, Андреевъ беретъ за разрушеніе другой вѣковѣчной основы человѣческаго чаянія—вѣры.

Таковы темы, таковы пріемы Андреева.

Естественно, что всякое сколько-нибудь внимательное изученіе Андреева не можетъ обойтись безъ сопоставленія его съ облюбованнымъ модернистами отцомъ „литературы ужасовъ“ Эдгаромъ По и новоевропейскимъ символизмомъ. Но это соотношеніе отнюдь не слѣдуетъ преувеличивать. Въ самомъ существѣ своемъ творчество Андреева, однако, глубоко различно и отъ исключительно-нервной расшатанности Эдгара По и еще болѣе отъ аристократическаго презрѣнія къ жизни символизма. „Ужасы“ Эдгара По въ подавляющемъ большинствѣ—виртуозная выдумка, „одинокіе“ люди Ибсена, Метерлинка, даже Гауптмана полны гордаго сознанія своего превосходства надъ низменною житейскою прозою. У Андреева, напротивъ того, всѣ забиты, придавлены, принижены. „Лейтмотивъ“ его творчества—безысходное, реальное *страданіе*, и это-то органически и связываетъ его съ общимъ направленіемъ русской литературы, чуткой къ страданію прежде всего.

§ 23. Поворотъ къ жизни у Брюсова и Бальмонта. Страдальческія настроенія въ творествѣ Сологуба. Религіозный анархизмъ Мережковскаго.

Обратимся, однако, къ модернистамъ форменнымъ.

Чисто-декадентская полоса „новыхъ теченій“, полоса проповѣди эллинскаго веселія и эгоистическаго самодовлѣнія, ничего не дала русской литературѣ. Минскій написалъ нѣ-

сколько вдумчивыхъ стихотвореній, но что сказать о главномъ продуктѣ декадентской полосы его творчества — пресловутой драмѣ „Альмъ“? Слабая по исполненію, она прямо безобразна по своей дико-фальшивой и потому антихудожественной задачѣ: во имя какой-то совершенно-отвлеченной „свободы“, съ которой не извѣстно что дѣлать надо, лишить женщину материнства. „Символическіе“ стихи Мережковского не цѣнятся даже самыми горячими его поклонниками. Многообѣщавшее, изящное дарованіе Зинаиды Гиппиусъ замерло въ холодѣ чисто-головного желанія стать російской Геддой Габлеръ. Брюсовъ, какъ уже было отмѣчено, пужалъ добрыхъ людей нарочитыми бессмыслицами, а нарочитость какой же источникъ художественности? Бальмонтъ забавлялся алитераціями и въ чуждой его натурѣ „сѣверной“ настроенности не могъ проявить крившейся въ немъ поэтической силы. Крупный талантъ Сологуба создалъ безобразныя вещи въ родѣ „Тяжелыхъ сновъ“, гдѣ нѣтъ того, что придаетъ такую силу его позднѣйшимъ повѣстямъ и стихамъ—страданія. О подголоскахъ декадентства уже и говорить нечего—это сплошное антихудожественное кривляніе, не чуждое даже спекуляціи на скандалъ.

Несравненно плодотворнѣе и богаче талантливостью въ исторіи русскаго модернизма синтетическій періодъ его—соединенія стараго исканія правды съ новой формой и углубленнымъ отношеніемъ къ вѣчнымъ вопросамъ жизни. Исчезаетъ напряженность, но остается красочность. Совсѣмъ по иному складывается дѣятельность зачинателей декадентства, когда они отказываются отъ первоначальнаго лomanія и, такъ или иначе, входятъ въ душевную связь съ исконнымъ, суровымъ складомъ нашей правдо-ищущей литературы.

Настоящую художественную силу обрѣлъ въ себѣ Брюсовъ, отбросивши дешевое эффектничаніе. Этого тѣмъ легче было достигнуть, что Брюсовъ—поэтъ мысли по преимуществу; порывы поэтической безотчетности, которые такъ характеризуютъ главу новой школы, — Бальмонта, ему чужды. Поэтому у него въ неудачныхъ стихахъ такъ много надуманности, въ удачныхъ стройности. По общему складу своего спокойно-созерцательнаго писательскаго темперамента, Брю-

2 совъ — чистѣйшій классикъ, и, являясь головнымъ проповѣдникомъ символизма, онъ по существу съ этимъ неоромантическимъ и мистическимъ теченіемъ душевнаго сродства не имѣетъ.

Отказавшись отъ бьющихъ на эффектъ выходокъ, Брюсовъ совершенно неожиданно увлекается такою областью жизни, которая весьма мало вяжется съ декадентствомъ. Не знаменательно-ли, что искатель „несозданныхъ созданій“ и „звонкозвучной тишины“, правда подъ вліяніемъ Верхарна, но, все-таки, первый въ русской поэзіи становится пѣвцомъ „города“! Онъ воспѣваетъ городскую жизнь въ ея цѣломъ, даже электрическія конки, эти „вольные челны шумящихъ и строгихъ столицъ“, сѣть телеграфныхъ проволокъ, сложенный въ кучи снѣгъ. Улица полна для поэта символическаго значенія, въ стѣнахъ домовъ онъ видитъ „думы племенъ охладѣлыхъ“, весною ему кажется, что „даль улицы исполнена тѣней. Вдали, вблизи,—все мнѣ твердитъ о смѣнѣ: и стаи птицъ, кружащихъ надъ крестомъ, и ручеекъ, звеня, бѣгущій въ пѣнѣ и женщина съ огромнымъ животомъ“.

Открывается, такимъ образомъ, цѣлая новая область художественнаго воспроизведенія. И если припомнить, что родился у Брюсова этотъ интересъ именно тогда же, когда и русская общественная мысль перенесла центръ интересовъ русской жизни въ городъ, то какъ тутъ не увидѣть прямыхъ нитей, хотя въ данномъ случаѣ незримыхъ и несознаваемыхъ самимъ поэтомъ.

И чѣмъ дальше, тѣмъ Брюсовъ все болѣе и болѣе отстаетъ отъ первоначальныхъ искусственныхъ настроеній, все больше и больше начинаетъ интересоваться реальной дѣйствительностью. „Здравствуй, жизни повседневной грубокованная рѣчь. Я хочу извѣдать тайны жизни мудрой и простой. Всѣ пути необычайны, путь труда, какъ путь иной“. Въ немъ все растетъ обозначившаяся такъ опредѣленно впервые въ его „Tertia Vigilia“ любовь къ городу,—къ уличной жизни, интересъ даже къ газовымъ фонарямъ, къ дыму трубъ и т. д. Настроенія поэта теперь тѣсно связаны съ самыми мелкими явленіями городской жизни, съ какимъ-нибудь „рѣзкимъ стукомъ пролетки въ тишинѣ“. Всего менѣе по-„декадентски“ онъ присматривается къ городской тяготѣ

и нуждѣ и весьма своеобразно отзывается на нее: вызывая, напр., ангела съ неба, онъ заставляетъ его помогать мальчику, который „изъ силъ выбивается, бочку на гору не втащить никакъ“. Любой сборникъ „гражданскихъ“ мотивовъ украситъ извѣстное стихотвореніе „Каменщикъ“, — діалогъ между поэтомъ и каменщикомъ въ „фартукѣ бѣломъ“, который строитъ тюрьму, предчувствуя, что туда попадетъ его сынъ. Въ связи съ интересомъ къ городскому быту, очень оригинально разработана Брюсовымъ народно-городская и фабричная пѣсня, такъ называемая „частушка“.

Новой чертой въ творчествѣ Брюсова, сравнительно съ эротикой „модернизма“, является стремленіе извлечь половое чувство изъ прежняго желанія декадентства—щеголять порочностью и утонченной развращенностью. Нельзя не признать замѣчательной попытку Брюсова выдѣлить въ излюбленной модернизмомъ „половой проблемѣ“ элементъ наслажденія отъ таинства материнства. Въ превосходной пьесѣ „Habet illa in alvo“ говорится о самыхъ скользкихъ подробностяхъ съ той величавой простотою и цѣломудренной серьезностью, съ которой говорятъ о таинствѣ зачатія библейскія преданія и народная поэзія Юга.

Въ общемъ, продолжая разрабатывать и сюжеты чисто-модернистскіе, Брюсовъ по выбору темъ, становится эклектикомъ по преимуществу. Въ „Tertia Vigilia“ онъ прямо заявляетъ: „Мнѣ сладки всѣ мечты, мнѣ дороги всѣ рѣчи, и всѣмъ богамъ я посвящаю стихъ“; въ „Urbi et Orbi“ еще рѣшительнѣе говоритъ: „Хочу, чтобъ всюду плавала свободная ладья, и Господа и Дьявола хочу прославить я“. Этотъ эклектизмъ находится въ связи съ теоретическими взглядами Брюсова на искусство, въ которомъ, по его убѣжденію, „всѣ настроенія равноцѣнны“. Онъ энергически протестуетъ противъ какихъ-либо обособленныхъ взглядовъ на поэзію. „Я равно люблю и вѣрныя отраженія зримой природы у Пушкина или Майкова, и порыванія выразить сверхчувственное, сверхземное у Тютчева или Фета, и мыслительныя раздумья Баратынскаго, и страстныя рѣчи гражданскаго поэта, скажемъ, Некрасова“. Главная задача „новаго искусства“—„даровать творчеству полную свободу“. Выступая въ брошюрѣ „Объ искусствѣ“ съ рѣшительнымъ заявленіемъ,

что „въ искусствѣ для искусства нѣтъ смысла“, онъ позднѣе, въ предисловіи къ „Tertia Vigilia“, высказываетъ убѣжденіе, что „попытки установить въ новой поэзи незыблемые идеалы и найти общія мѣрки для оцѣнки, должны погубить ея смыслъ. То было бы лишь смѣной однѣхъ узъ на новыя. Кумиръ Красоты столь же бездушенъ, какъ кумиръ Пользы“.

Въ конечномъ результатѣ Брюсовъ-позднѣйшій, Брюсовъ періода синтетическаго модернизма и Брюсовъ періода первоначальнаго декадентства—настолько разошлись между собою, что Брюсовъ-позднѣйшій выбросилъ изъ собранія своихъ стихотвореній почти все то, что опредѣляло литературную физиономію Брюсова первоначальнаго.

Необычайно ярко расцвѣтаетъ талантъ Бальмонта, когда его, хотя и сквозь призму модернистскаго индивидуализма и эгоцентричности, охватилъ тотъ же самый подъемъ общественнаго самосознанія, то же самое общественное возбужденіе конца вѣка, которое сказалось въ гордой самоувѣренности марксизма. Бальмонтъ и Горькій—какое странное сопоставленіе съ перваго взгляда! Но, конечно, они родные братья по яркости чувствованія, по презрѣнію къ окружающему, по увѣренности въ своей силѣ.

Эволюцію настроеній Бальмонта надо прослѣдить въ связи съ необыкновенно-отвлеченнымъ характеромъ всей его поэзи вообще. Надо помнить, что основная черта ея—желаніе всецѣло отрѣшиться отъ условій времени и пространства и всецѣло уйти въ царство мечты. Среди многихъ сотенъ стихотвореній многочисленныхъ сборниковъ Бальмонта до самаго послѣдняго времени, когда его заинтересовали русскіе сказочные сюжеты, у него почти нѣтъ стиховъ на русскія темы. Да и вообще люди и дѣйствительность мало занимаютъ Бальмонта. Онъ поетъ по-преимуществу небо, звѣзды, море, солнце, „безбрежности“, „мимолетности“, „тишину“, „прозрачность“, „мракъ“, „хаосъ“, „вѣчность“, „высоту“, сферы, лежащія „за предѣлами предѣльнаго“. Эти отвлеченныя понятія Бальмонтъ для вящей персонификаціи даже пишетъ съ большой буквы; онъ обращается съ ними, какъ съ живыми реальностями, и въ этомъ отношеніи онъ, послѣ Тютчева, — самый проникновенный среди русскихъ поэтовъ пантеистъ. Но, собственно, живую, реальную при-

роду,—дереву, траву, синеву, плескъ,—онъ совсѣмъ не чувствуетъ и *описывать* почти не пытается. Его интересуетъ только отвлеченная субстанція природы какъ цѣлаго. Онъ почти лишенъ способности рисовать и живописать, его ландшафты неопредѣленны, про его цвѣты мы узнаемъ только, что они „стыдливые“, про его море, — что оно „могучее“, про звѣзды, — что онѣ „одинокія“, про вѣтеръ,— что онъ „беззаботный, безотчетный“ и т. д. Настоящихъ поэтическихъ, т. е. живописныхъ образовъ у него нѣтъ; онъ весь въ эпитетахъ, въ отвлеченныхъ опредѣленіяхъ, въ перенесеніи своихъ собственныхъ ощущеній на неодушевленную природу. Передъ нами, такимъ образомъ, типичная символическая поэзія, поэзія смутныхъ настроеній и туманныхъ очертаній, поэзія рефлексіи по преимуществу, въ которой живая, непосредственная впечатлительность отступаетъ на второй планъ, а на первый выдвигается стремленіе къ синтезу, къ философскому уясненію общихъ основъ міровой жизни. Имѣя на то извѣстное право, Бальмонтъ считаетъ себя поэтомъ стихій. „Огонь, Вода, Земля и Воздухъ,—говоритъ онъ въ предисловіи къ собранію своихъ стиховъ,—четыре царственныя стихіи, которыми неизмѣнно живетъ моя душа въ радостномъ и тайномъ соприкосновеніи“.

И тѣмъ не менѣе, при всемъ стремленіи уйти отъ земли и людей Бальмонтъ гораздо ближе къ нимъ, чѣмъ это думаетъ.

Онъ не только не ушелъ отъ жизни вообще, онъ даже не ушелъ отъ условій русской дѣйствительности. За свою сравнительно недолгую литературную дѣятельность Бальмонтъ пережилъ существенную эволюцію общаго настроенія своего. Ему самому эта эволюція представляется въ исключительно символическихъ очертаніяхъ, связанныхъ съ заглавіями сборниковъ его стихотвореній. Характеризуя свое творчество, онъ говоритъ, что оно началось „съ печали, угнетенности и сумерокъ. Оно началось подъ сѣвернымъ небомъ, но силой внутренней неизбѣжности, чрезъ жажду Безграничнаго, Безбрежнаго, чрезъ долгія скитанія по пустыннымъ равнинамъ и проваламъ Тишины, подошло къ радостному Свѣту, къ огню, къ побѣдительному Солнцу“.

На самомъ дѣлѣ, смѣна настроеній поэта находится

въ самой тѣсной, органической связи съ общественно-литературной эволюціей послѣдней четверти вѣка. Чтобы показать это, достаточно подставить хронологическія даты. Зародившись въ самую безнадежную полосу русской общественности,—въ эпоху 80-хъ годовъ,—творчество Бальмонта, дѣйствительно, началось съ тоскливыхъ „сѣверныхъ“ настроеній и черныхъ тоновъ. Но возбужденность, составляющая основу темперамента поэта не дала ему застыть въ черныхъ тонахъ, которые навсегда окрасили творчество другого выразителя безвременья 80-хъ годовъ, Чехова. Послѣ переходной стадіи,—бѣгства отъ печали земли въ свѣтлую область „Безбрежнаго“, яко-бы отрѣшившагося отъ всего „конечнаго“ поэта,—какъ я уже отмѣчалъ выше, своеобразно, но весьма ярко захватываетъ тотъ замѣчательный подъемъ, который со середины 90-хъ годовъ сказался въ задорѣ марксизма и дерзкомъ вызовѣ Максима Горькаго. Именно въ это-то время Бальмонтъ и подошелъ къ „Побѣдному Солицу“. Именно тогда-то стихійная поэзія Бальмонта становится яркой и красочной. Онъ совершенно перестаетъ ныть, онъ буйно хочетъ „разрушать зданія“, хочетъ „быть какъ солнце“, онъ воспѣваетъ только бурныя, жгучія страсти, бросаетъ вызовъ традиціямъ, условности, старымъ формамъ жизни.

Въ моемъ желаніи подчеркнуть существеннѣйшую эволюцію, которую пережилъ русскій модернизмъ, мнѣ, можетъ быть, всего труднѣе будетъ справиться съ Сологубомъ. И это несмотря на то, что въ знаменательный 1905 годъ онъ писалъ стихи и политическія сказки удивительной силы и рѣзкости. Муки совсѣмъ особаго рода слышатся въ душевной драмѣ Федора Сологуба, и въ рядахъ русскаго декадентства и модернизма онъ занимаетъ совсѣмъ особое мѣсто. Въ то время какъ общею чертою декадентства является ломаніе, напускныя чувства, ходульность, напряженность, Сологубъ, напротивъ того, писатель безусловно-искренній, въ томъ смыслѣ, что все имъ создаваемое естественно и органически связано съ его психопатологическимъ писательскимъ темпераментомъ. Вѣчный сумракъ дѣйствительно царитъ въ творческой душѣ Сологуба, и ни одинъ лучъ солнца не освѣщаетъ это подземелье. Исканіе смерти, безуміе и похоть сплетаются

въ творчествѣ Сологуба въ одинъ страшный кошмаръ. И у поклонниковъ Сологуба изъ лагеря декадентскаго есть основаніе, когда они его, съ особымъ смакованіемъ чего-то очень пикантнаго, опредѣляютъ какъ поклонника „дьявола“. Да и самъ Сологубъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній заявилъ: „И вѣренъ я, *отецъ мой, Дьяволъ*, обѣту, данному въ злой часъ, когда я въ бурномъ морѣ плавалъ, и Ты меня изъ бездны спасъ. Тебя, отецъ мой, я прославлю въ укоръ неправедному дню, хулу надъ міромъ я возставлю и соблазняя соблазню“. По собственному опредѣленію, онъ „рабъ вождельнѣннѣя больного и злого“ и весь отдался „мечтѣ порочной“.

И тѣмъ не менѣе, опредѣленіе поэзіи Сологуба какъ служенія „дьяволу“ абсолютно невѣрно, потому что съ понятіемъ о „дьяволѣ“ связано представленіе о чемъ-то торжествующемъ и наслаждающемся. А этого-то и слѣда нѣтъ у Сологуба. Цѣлый рядъ грустнѣйшихъ признаній даютъ картину безотраднѣйшей внутренней жизни его. И недаромъ лирика и проза Сологуба прямой гимнъ смерти.

Если уже держаться демонологіи, то общее настроеніе и поэзіи, и прозы Сологуба можно опредѣлить страннымъ, по-видимому, областнымъ словомъ „недотыкомка“, введеннымъ въ литературу Сологубомъ. Образъ „недотыкомки“ получаетъ особое развитіе въ замѣчательномъ, полубредовомъ романѣ Сологуба „Мелкій бѣсъ“. Герою романа—маніаку Передонову—„недотыкомка“ представляется „грязнымъ, вонючимъ, противнымъ и страннымъ“ существомъ; „дымная, многовидная“ она мелко лжеть, „визгливо хохочетъ“ и, лишенная всего того блеска, съ которымъ всегда связано понятіе о демоническомъ, окутываетъ жизнь грязной, сѣрой пеленой. Передъ нами, такимъ образомъ, новый, еще не описанный видъ чело-вѣческаго страданія, страшнаго своею сѣростью. И вотъ эта то сѣрость сообщаетъ основной тонъ сологубовскому служенію „дьяволу“. Сологубъ себя сравниваетъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній съ жалкимъ подзаборнымъ звѣробоемъ. Отъ сѣрости кучи сора, на которой онъ выросъ его и тянетъ къ „царицѣ радостнаго зла“ и къ „великой тишинѣ“ смерти. И эта тоска совершенно переиначиваетъ общее впечатлѣніе отъ кошмарнаго творчества Сологуба.

Пусть даже временами этому творчеству органически присуще прямое и неприкрытое мучительство. И, все-таки, впечатлѣніе отъ совокупности литературной дѣятельности Сологуба ни мало не „соблазняющее“. Глубокое страданіе, которымъ отмѣчено все, что писалъ Сологубъ, возбуждаетъ только глубокое чувство состраданія къ его безнадежно скорбному настроенію. Декадентство самодовольно кичилось своею порочностью. Этого дешеваго и потому пошлаго кокетничанія и слѣда нѣтъ въ трагической психологіи Сологуба. Вотъ почему Сологубъ захватываетъ совершенно независимо отъ содержанія своихъ патологическихъ писаній. Въ литературѣ рѣшающее, основное впечатлѣніе даетъ не содержаніе, а эмоціональная сторона произведенія, тонъ музыки, окраска. Если мнѣ новѣйшая фаза русскаго модернизма кажется возвращеніемъ къ исконнымъ завѣтамъ русской литературы, то не по темамъ и не потому, что онъ изъ реакціоннаго сталъ радикальнымъ, а потому, что въ немъ снова звучатъ теперь ноты серьезныя и величавыя, думы тревожныя и страдальческія. И вотъ именно страдальческія думы у Сологуба жгучѣе, чѣмъ у кого бы то ни было въ современной литературѣ.

Изъ старшихъ модернистовъ мнѣ остается теперь отмѣтить эволюцію мысли главнаго глашатая модернизма на всѣхъ этапахъ его развитія—Мережковскаго.

Въ высшей степени благодѣтельно сказался отказъ отъ бездушнаго эстетизма и декадентскаго аморализма на литературной дѣятельности Мережковскаго. Говорю нарочно „литературной дѣятельности“, потому что все, что пишетъ Мережковскій,—его романы, блестящія критическія характеристики, религіозно-философскіе этюды, памфлеты, — представляетъ собою не поддающуюся опредѣленной классификаціи мозаику, гдѣ трудно провести грань между чистой художественностью и „прозой“. Талантъ Мережковскаго очень своеобразенъ въ томъ отношеніи, что при несомнѣнной холодности эмоціональной у него есть настоящій паеосъ мысли. И вотъ эта-то патетическая сторона его дарованія не находила себѣ пищи, когда надо было въ угоду аморализму и изящному „язычеству“ изображать изъ себя какого-то Петронія или ударяться въ символы, которые всегда холодны.

Въ декадентскую полосу своей литературной эволюціи Мережковскій почти всегда былъ напряженно-ходулень. Но онъ прямо нашелъ себя, когда въ немъ заговорила потребность убѣжать отъ аморализма въ область созданія новаго религиознаго сознанія. Нѣтъ никакой надобности хотя бы въ малѣйшей степени раздѣлять противорѣчивую, изъ стороны въ сторону бросающуюся теологію Мережковскаго, чтобы признать самое богоисканіе его однимъ изъ наиболѣе крупныхъ литературныхъ явленій послѣдняго десятилѣтія. Для опредѣленія значительности даннаго литературнаго явленія совсѣмъ не имѣетъ рѣшающаго значенія сущность. Важна жгучесть и острота самаго исканія. И она-то, несомнѣнно, сказалась въ Мережковскомъ, когда онъ понялъ пустынность чистаго эстетизма, не одухотвореннаго жаждой нравственнаго совершенствованія. Въ немъ открылся родникъ истиннаго благородства, придающаго не только привлекательность, но и силу всему, что выходитъ изъ-подъ его пера. Чувствуются муки мысли, дѣйствительно тревожной, не боящейся никакихъ выводовъ и потому не разъ возвышающейся до настоящей проникновенности.

И куда же привела Мережковскаго его тревожная мысль?

Прочитирую заключительныя строки изъ „Не миръ, но мечъ“, одного изъ послѣднихъ пророчески-художественныхъ произведеній Мережковскаго:

„Такіе одинокіе, слишкомъ ранніе анархисты, какъ Бакунинъ, Толстой, Штирнеръ, Ницше, — горныя вершины, озаряемыя первыми лучами дня; а внизу, гдѣ еще темная ночь, — безчисленные невѣдомые братья наши, всемірный рабочій народъ, великое воинство грядущей всемірной революціи. Мы вѣримъ, что рано или поздно дойдетъ и до нихъ громовый голосъ русской революціи, въ которомъ зазвучитъ надъ старымъ европейскимъ кладбищемъ труба архангела, возвѣщающая страшный судъ и воскресеніе мертвыхъ“.

Не будемте входить въ анализъ этой удивительной амальгамы изъ Бакунина и Толстого, Штирнера и Ницше. Возьмемъ только общій тонъ этого апокалиптически - анархическаго предвозвѣщенія, остановимся только на томъ, что Бакунинъ и Штирнеръ, по Мережковскому, — первые лучи дня.

Это говорить тотъ самый Мережковскій, который столь недавно прославлялъ самодержавіе.

Мережковскій въ настоящее время — одинъ изъ самыхъ пламенныхъ провозвѣстниковъ религіозно-соціальной реформаціи. Онъ—несомнѣнный анархистъ. Конечно, анархистъ особаго типа, религіозно-мечтательнаго, собирающійся свергнуть государство только въ путяхъ любви. Но все-таки свергнуть. Буржуазный строй ему глубоко-противенъ, „какой-нибудь“ парламентаризмъ для него слишкомъ мелокъ. И если припомнить, что къ религіозно-общественнымъ мечтаніямъ Мережковскаго тѣснѣйшимъ образомъ примыкаетъ и Зинаида Гиппіусъ, нѣкогда провозвѣстившая, что надо любить себя, какъ Бога, то думается, я имѣю полное право сказать слѣдующее:

Отъ эгоистической, узко эстетической, аморальной и аполитической проповѣди четы Мережковскихъ, этихъ двухъ виднѣйшихъ главарей благополучно скончавшагося декадентства, не осталось теперь и воспоминанія.

§ 24. Schöne Seelen.

Отъ модернистовъ старшихъ перейдемъ къ модернистамъ позднѣйшимъ, выступившимъ или выдвинувшимся только въ послѣдніе годы.

Эту главку о модернистахъ послѣднихъ лѣтъ всего лучше назвать старомоднымъ эпитетомъ 1830—40 гг.: Schöne Seelen—прекрасныя души.

Посмотримъ, въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ сказывается духовная сущность самаго даровитаго изъ новыхъ поэтовъ модернизма, Александра Блока.

Удивительно цѣломудренна, строга и аскетична муза Блока

Веселія не надо мнѣ,—

заявляетъ онъ, и вся первая полоса его поэзіи — порывъ къ какой-то невѣдомой ему самому Прекрасной Дамѣ. Весь первый сборникъ Блока такъ и называется „Стихи о Прекрасной Дамѣ“. Это—настоящій культъ средневѣковаго рыцаря:

Со мной всю жизнь—одинъ завѣтъ:
Завѣтъ служенья Непостижной.

На пространствахъ всѣхъ стихотвореній перваго сборника Блокъ влюбленъ въ „мерцающую сагу“. Ему, какъ пушкинскому „Рыцарю бѣдному“, было одно явленіе, „непостижное уму“, и въ разныхъ формахъ онъ его изображаетъ въ своихъ дымчато-прозрачныхъ, всегда изящныхъ видѣніяхъ, часто написанныхъ свободнымъ стихомъ, что придаетъ имъ еще большій отпечатокъ искренности.

Въ связи съ культомъ Прекрасной Дамы, въ которомъ символически выражено порываніе въ высь, общій строй музыки Блока почти религіозный. Эта религіозность ничего общаго не имѣетъ съ церковной религіозностью, хотя Блокъ пишетъ „молитвы“, постоянно говоритъ о Ликѣ, о Владычицѣ Вселенной и даже „тебѣ“ и „она“ пишетъ съ большой буквы. Передъ нами — поэтическое визионерство, особаго рода мечтательность, сквозь призму которой повседневная жизнь представляется поэту „въ магическомъ вихрѣ и свѣтѣ“. Нѣтъ поэтому никакого противорѣчія въ томъ что визионеръ Блокъ—вмѣстѣ съ тѣмъ и самый интересный у насъ теперь „поэтъ города“. По сравненію съ „городской поэзіей“ Брюсова, Блокъ сдѣлалъ шагъ впередъ въ томъ отношеніи, что онъ не только описываетъ, но до извѣстной степени одухотворяетъ описываемое. Въ самыхъ прозаическихъ проявленіяхъ городской жизни Блокъ находитъ элементы настоящей поэзіи, умѣетъ изобразить въ волнующей воображеніе дымкѣ даже „крефель булочный“, и какъ въ пригородѣ, „заламывая котелки, среди канавъ гуляютъ съ дамами испытанные остряки“. Уже на что повседневный сюжетъ—посѣтитель загороднаго ресторана, сидящій за стаканомъ „влаги терпкой и таинственной“. Но и изъ этого сюжета Блокъ въ своемъ замѣчательномъ стихотвореніи „Незнакомка“ сумѣлъ создать цѣлую мистико-реальную поему, гдѣ причудливо переплетено визионерство съ реальной жизнью, прекрасно схваченныя чисто-физиологическія детали работы отуманеннаго мозга съ мистическимъ порывомъ къ Прекрасной Дамѣ. Получается, несомнѣнно, нѣчто новое въ искусствѣ, un peu de frisson, какъ говорилъ Викторъ Гюго по поводу Бодлэра.

Особую прелесть придаетъ поэзіи Блока отпечатокъ какой-то очаровательной наивности, которая лежитъ на всемъ его творчествѣ. Это — не поддѣльная наивность

стилизованнаго „примитива“, а настоящая кристалльность творческих настроений. Блокъ весь еще во власти дѣтскихъ грезъ и даже о матери говорить, какъ о „мамѣ“.

Отпечатокъ той же, если можно выразиться, прозрачной дѣтскости, которая сообщаетъ очарованіе поэзіи Блока, лежитъ и на поэзіи другого представителя позднѣйшаго модернизма, Андрея Бѣлаго. Станный это поэтъ и писатель вообще. При несомнѣнной талантливости, которая сказывается въ отдѣльныхъ блестящихъ, въ отдѣльныхъ глубокихъ мысляхъ, его все-таки трудно признать талантомъ. У него нѣтъ законченности, нѣтъ умѣнія довести до конца подчасъ очень яркій, оригинальный и глубокий замыселъ. Затѣмъ онъ въ своихъ „симфоніяхъ“, въ своемъ „Кубкѣ мятелей“ задается столь сложными задачами, которыя явно лежатъ за предѣлами художественнаго изображенія. Это переплетеніе поэзіи съ музыкой и отвлеченно-философскими домыслами само себя выбрасываетъ изъ области искусства по своей запутанности. Основа эстетическаго наслажденія—все же легкость воспріятія, и нельзя, какъ самъ Бѣлый рекомендуетъ въ предисловіи къ „Кубку мятелей“, по нѣскольку разъ читать его произведенія, чтобы уловить нить его авторскихъ намѣреній.

Для насъ, однако, Бѣлый сейчасъ интересенъ не по совершенству своихъ произведеній, а для характеристики второго модернистскаго поколѣнія, среди котораго онъ привлекаетъ особенное вниманіе и публики, и критики.

Будучи писателемъ очень своеобразнымъ, Андрей Бѣлый вмѣстѣ съ тѣмъ находится подъ явно выраженнымъ вліяніемъ нѣсколькихъ писателей и художниковъ и съ полной откровенностью показываетъ въ посвященныхъ имъ стихотвореніяхъ свою духовную зависимость отъ нихъ. Подъ вліяніемъ одной изъ сторонъ поэзіи Бальмонта, его влечетъ „бархатъ эфира“, „золотая ослѣпительность“ небесныхъ сферъ, и сборникъ своихъ стиховъ онъ озаглавливаетъ „Золото въ лазури“. Подъ явнымъ вліяніемъ художника-модерниста Сомова, влюбленнаго въ XVIII вѣкъ, и Бѣлый пишетъ рядъ миниатюръ изъ жизни напудренныхъ маркизовъ и російскихъ петиметровъ. Привлекаютъ его беклиновскіе кентавры и всякіе воскрешенные модернизмомъ гномы, карлики

лѣсные и горные духи. А рядомъ съ этимъ уходомъ отъ жизни Андрей Бѣлый съ тѣмъ же увлеченіемъ отдается „поэзіи города“, живописуетъ „громъ пролетовъ“ и „ходъ безшумный резиновыхъ шинъ“, даетъ картины московской переулочной жизни въ стилѣ „бульварныхъ“ частушекъ Брюсова, выводитъ городскихъ пьяницъ, оборванцевъ, босяковъ и т. д. Отмѣтимъ при этомъ въ высшей степени характеристичную и для Бѣлаго, и для второго модернистскаго поколѣнія черту: подобно поэзіи Блока, и поэзія Андрея Бѣлаго въ высшей степени цѣломудренна и (за исключеніемъ развѣ нѣсколькихъ страницъ въ „Кубкѣ мятежей“) прямо даже стыдлива.

Эта черта станетъ вполне понятной, если, на ряду съ другими вліяніями, мы выдѣлимъ то вліяніе, которое сказалось всего сильнѣе на „нѣжнѣйшей и тончайшей душѣ“ Бѣлаго, какъ, повидимому вполне правильно, его печатно аттестуетъ его литературный другъ Зинаида Гипсіусъ. Бальмонтъ, Брюсовъ, Блокъ, — это только братья Бѣлаго, но есть человекъ, который для него былъ прямымъ учителемъ и пророкомъ. Посѣтивъ его могилу и вспоминая о „голосѣ необычномъ“ учителя, который „на просторъ насъ звалъ“, Бѣлый отходить отъ дорогой могилы съ такимъ чувствомъ преемственности:

Тебя не поняли... Вонъ тамъ сквозь сумракъ шаткій
Пунцовый свѣтъ дрожить.
Спокойно почивай: огонь твоей лампадки
Мнѣ сумракъ озарить.

Эта священная для Бѣлаго могила, связанная въ немъ съ образомъ Христа, — могила Владимира Соловьева. И если мы припомнимъ, что подѣ явнымъ вліяніемъ Владиміра Соловьева сложились мистическіе порывы Александра Блока и обратимъ затѣмъ вниманіе на то, что дебютная книга Вячеслава Иванова начинается съ посвященія Владиміру Соловьеву, то мы получимъ ключъ къ сокровенной сущности психологіи нашихъ младшихъ модернистовъ. Это — та религіозность и то христіанство, которое Христа представляетъ себѣ только въ вѣнкѣ терновомъ.

Я сейчасъ назвалъ Вячеслава Иванова. Чисто-художественно

ственное значеніе его столь же спорно, какъ и художественное значеніе невытанцовывающихся глубокихъ замысловъ Андрея Бѣлаго.

Вячеславъ Ивановъ — писатель необыкновенно темный, потому что темнота его намѣренная. Мечтая о „всенародномъ“ искусствѣ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ смотритъ на поэзію, какъ на нѣчто такое, что не можетъ и не должно быть доступно толпѣ. „Отъединенная, символическая поэзія“ должна быть темна, потому что символъ „темень въ послѣдней глубинѣ“, потому что въ немъ должны воплотиться смутныя, какъ сквозь сонъ, воспоминанія объ отдаленномъ прошломъ народныхъ вѣрованій. И если къ этой намѣренной темнотѣ прибавить, что Вячеславъ Ивановъ перемѣшиваетъ символику христіанскую съ символикой языческой, что все это изложено нарочито-тяжеловѣснымъ славяно-росскимъ языкомъ, невольно вызывающимъ въ умѣ читателя тѣнь Тредьяковскаго, то мы не удивимся, что даже самые завзятые поклонники своеобразной поэзіи Вячеслава Иванова не могутъ отрицать „трудности“ пониманія ея, а также и того, что она — „плодъ труда не менѣе, чѣмъ вдохновенія“. Но попробуемъ примириться съ этой темнотой, откажемся уяснить себѣ, почему, напр., алмазь есть „всепроницаемая святыня луча божественнаго Да“, а изумрудъ — „обѣтъ чудесъ въ дали безбрежной“, „земли божественная злчность, ее рождающее Да“. Ограничимся тѣмъ, что модернизмъ называетъ „настроеніемъ“, а по старинному просто называется общимъ впечатлѣніемъ. И тогда, несомнѣнно, темная поэзія Вячеслава Иванова представить своеобразный интересъ большой духовной работы, проникнутой вдумчивымъ стремленіемъ освѣтить основные вопросы бытія.

Если ограничиться общимъ впечатлѣніемъ, то, кажется, всѣ, когда-либо присматривавшіеся къ дѣятельности Вячеслава Иванова въ стихахъ и прозѣ, относятся къ ней съ полной симпатіей.

Пусть его „непріятіе міра“ отзывается маниловщиной, пусть его „соборность“ не вяжется съ имъ же проповѣдуемой „отъединенностью“. Но все-таки его большая, разнообразная эрудиція будитъ мысль и пытливость, настраиваетъ на думы важныя и глубокія. Есть что-то несомнѣнно-пророческое во

всемъ ансамблѣ литературной дѣятельности Вячеслава Иванова. Вся она—искренній призывъ въ заоблачныя дали, въ царство красоты и душевнаго изящества въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

Настоящимъ душевнымъ изяществомъ вѣетъ и отъ недавно появившагося на литературномъ поприщѣ модерниста Бориса Зайцева. Это уже не спорный, а настоящій талантъ. Его рассказы и повѣсти написаны съ большимъ мастерствомъ. По манерѣ Зайцевъ имѣетъ много общаго съ Блокомъ: та же дымчатость, та же способность налагать поэтическіе блики на самыя обыкновенныя явленія жизни. Есть, несомнѣнно, извѣстная манерность у Зайцева, но какая-то искренне-восторженная. Онъ просто любитъ рядиться въ цвѣтныя платья, онъ ясно сознаетъ, что часто приподнято смотреть на вещи, но это ему искренно нравится, и такъ какъ онъ не имѣетъ ни малѣйшихъ претензій выдавать свою приподнятость за полную реальность, то читатель вполне ему ее прощаетъ.

Отъ Блока, Бѣлаго, Вячеслава Иванова Зайцевъ отличается тѣмъ, что онъ, несмотря на приподнятость, гораздо глубже ихъ сидитъ въ подлинной жизни. Собственно говоря, онъ даже форменный бытовикъ, съ глубоко-почвеннымъ слогомъ, съ превосходнымъ знаніемъ доподлинной русской, и деревенской, и городской, жизни. И касается онъ сплошь да рядомъ самой животрепещущей дѣйствительности, вплоть до черносотенныхъ погромовъ послѣднихъ лѣтъ. Но онъ, все-таки, модернистъ по стремленію дать широко обобщающіе контуры, разсматривать жизнь *sub specie aeternitatis*. Зайцевъ стремится изобразить жизнь не въ ея деталяхъ, а въ ея символической совокупности. Онъ же настоящій пантеистъ, стирающій разницу между жизнью и смертью, молодостью и старостью, даже человѣкомъ и звѣремъ. Онъ способенъ на нѣсколькихъ десяткахъ страницъ рассказать цѣлую человѣческую жизнь во всѣхъ ея основныхъ перипетіяхъ и благодаря этому подымаешься отъ жизни единичной къ сознанію какой-то цѣльной, вселенской жизни. Въ этой дымкѣ жизнь проносится предъ нами точно въ мечтѣ.

§ 25. Психологическія отличія второго поколѣнія модернистовъ.

Передъ нами прошла группа представителей второго поколѣнія модернистовъ. Это цвѣтъ его и по ней, не останавливаясь на менѣ яркихъ или недостаточно еще опредѣлившихся, мы вполне можемъ прійти къ извѣстнымъ выводамъ.

Какъ назовемъ мы эту группу, немного анемичную, въ общемъ далекую отъ жизни, стремящуюся уйти въ лазурь Вѣчности?

Я думаю, мы назовемъ ее группой мечтателей по преимуществу. И тутъ-то мы, минуя пока политическую окраску группы, и получимъ основной критерій для сужденія о томъ, въ какой мѣрѣ модернизмъ позднѣйшій унаслѣдовалъ основныя черты модернизма первоначальнаго, когда онъ былъ декадентствомъ. Къ политической окраскѣ мнѣ не хотѣлось бы прибѣгать, потому что по существу этотъ способъ доказательства очень грубый и ненадежный. Политическую окраску можно и напялить на себя.

А вотъ общій складъ душевной личности не съимитируешь. Вотъ почему для меня гораздо важнѣе подчеркнуть *психологическое* отличіе этой группы отъ первоначальнаго декадентства. Психологическій типъ первоначальнаго декадентства въ самой основѣ своей лишень всякаго налета мечтательности. Это, съ одной стороны, душевная упадочность, душевная усталость, необходимость взвинтить свои нервы чѣмъ-нибудь острымъ и яркимъ. А съ другой стороны, частью преувеличенно, частью искренно декадентство перваго фазиса выдвигало на первый планъ страсти. Отсюда, между прочимъ, генетическая связь первоначальнаго декадентства съ порнографическимъ теченіемъ нашихъ дней, которое, впрочемъ, должно быть названо болѣзнью внѣпартийной, такъ какъ ею заболѣли представители самыхъ противоположныхъ литературныхъ партій, въ томъ числѣ и ненавидящіе модернизмъ во всѣхъ его видахъ.

Въ модернистахъ второго поколѣнія ни одной изъ сейчасъ указанныхъ чертъ нѣтъ. Это все люди свѣжіе, неизломанные, своими мечтательными глазами бодро смотрящіе

на Космосъ во всемъ его объемѣ, безъ всякой усталости отдающіеся всѣмъ впечатлѣніямъ бытія. Въ области страстей это не только не аморалисты,—если, впрочемъ, вообще къ мѣсту говорить о морали въ сферѣ страстей — а, такъ сказать, сверхморалисты. Цѣломудріе составляетъ основную черту и поэзіи Блока, и поэзіи Бѣлаго, и даже Вячеслава Иванова, при всѣхъ его дифирамбахъ „діонисіевскому“ началу жизни. Это люди прямо изъ другого тѣста слѣпленные, чѣмъ родоначальники нашего декадентства. Въ 30-хъ гг. существовалъ въ кружкѣ Станкевича и Бѣлинскаго терминъ „прекраснодушіе“, правда, съ нѣсколькими специфическимъ оттѣнкомъ. Но если его взять просто такъ, какъ онъ звучитъ, то въ лицѣ нашихъ модернистовъ второго поколѣнія предъ нами группа такихъ *schöne Seelen*.

А уже если взять модернистовъ второго поколѣнія по признаку аполитизма или того ярче — по отношенію къ несомнѣнной связи декадентства съ реакціей 80-хъ годовъ, то различіе двухъ фазисовъ русскаго модернизма выступаетъ еще явственнѣе. Если никто изъ модернистовъ второго поколѣнія не примыкаетъ всецѣло и опредѣленно къ существующимъ крайнимъ партіямъ, то почти всѣ они опредѣленно примыкаютъ къ походу крайнихъ партій противъ современнаго общественнаго устройства. Всѣ они опредѣленные враги современнаго буржуазнаго строя и мечтаютъ о полномъ социальномъ переустройствѣ. Повторяется явленіе, наблюдаемое въ Европѣ. Въ Англіи проповѣдникъ новой эстетики—Морисъ былъ социалистомъ, Верхарнъ органически соединяетъ въ себѣ модернизмъ и социализмъ. А въ Россіи—сказать кстати для характеристики всего новаго модернизма, и первоначальнаго и позднѣйшаго—надъ передачей Верхарна на русскій языкъ упорно трудится Валерій Брюсовъ. Тотъ самый Брюсовъ, который еще такъ недавно и столь рьяно проповѣдывалъ искусство „чистое“, чуждое какихъ бы то ни было связей съ повседневной дѣйствительностью.

Вотъ какъ все это чудесно обернулось!

И что осталось такимъ образомъ отъ основныхъ чертъ первоначальнаго декадентства? Да, можно сказать, ровно ничего, въ особенности если принять въ соображеніе, что даже зачинатели „новыхъ теченій“, въ томъ числѣ Мережковскій

и Гипсіусъ, теперь всегда съ презрѣніемъ говорятъ о „декадентствѣ“ и ни въ малѣйшей степени не желаютъ причислить себя къ нему.

Перейдя въ старшемъ поколѣніи модернистовъ въ сферу религіозныхъ исканій и чуждый младшему поколѣнію съ самаго начала, аморализмъ въ модернизмѣ, какъ модернизмъ, очевидно, испарился самъ собой. Можно, конечно, въ современной литературѣ прослѣдить чуть ли не цѣлую доктрину аморализма въ рѣчахъ г. Санина. Но это деревянное созданіе заблудившагося таланта Арцыбашева къ области модернизма не относится. Арцыбашевъ не модернистъ по своей художественной манерѣ. А кромѣ того, не слѣдуетъ забывать, что тотъ же Арцыбашевъ написалъ „Смерть Ланде“. Послѣ князя Мышкина изъ „Идіота“, я не знаю во всей нашей литературѣ столь проникновеннаго изображенія альтруизма, какъ фигура студента Ланде.

Объ аполитизмѣ уже и говорить нечего. Я уже достаточно подчеркивалъ на всемъ пространствѣ своего этюда, въ какой мѣрѣ модернисты всѣхъ наименованій тѣсно сблизились съ крайними партіями. Къ этому можно еще прибавить, что часть нашего декадентства даже въ эмиграцію ушла; что Бальмонтъ написалъ рядъ необыкновенно рѣзкихъ, хотя, увы, плохихъ стихотвореній, а Сологубъ за то далъ рядъ политическихъ сказокъ замѣчательной силы и выразительности; что въ журнальной жизни нашихъ дней, какъ уже указано въ § 12, коалиція самыхъ яркихъ модернистскихъ силъ съ радикальными элементами стали обычнымъ явленіемъ. Въ смыслѣ общественномъ всѣ отгѣнки модернизма составляютъ органическую часть единой русской оппозиціи.

А затѣмъ остается указанное въ § 13 чрезвычайное усиленіе въ современномъ модернизмѣ стремленія къ учительствованію. Благодаря этому, остается вѣрнымъ основной тезисъ первой лекціи, и я могу повторить свое coeterum censeo:

Русская литература никогда не замыкалась въ сферѣ чисто-эстетическихъ задачъ. Всѣ дѣятели нашей литературы, въ той или другой формѣ, отзывались на потребности времени и были проповѣдниками по преимуществу.

§ 26. Живъ призывъ къ подвигу.

И живъ также старый духъ призыва къ подвигу. Чтобы показать это, закончу свой этюдъ нѣсколькими словами объ одномъ изъ послѣднихъ произведеній писателя, въ лицѣ котораго синтезъ новыхъ формъ и стараго содержанія, какъ мнѣ кажется, получилъ особенно-яркое выраженіе. Я говорю о „Тьмѣ“ Леонида Андреева. За „Тьмой“ послѣдовалъ рассказъ „О семи повѣшенныхъ“, гдѣ такимъ лучезарнымъ свѣтомъ обвѣяна психологія подвига. Но я, все-таки, считаю „Тьму“ болѣе яркимъ проявленіемъ неустанныхъ думъ автора о настроеніяхъ ищущей подвига души. Въ „Тьмѣ“, какъ мнѣ кажется, имѣетъ особенно-важное симптоматическое значеніе та центральная идея, ради которой, очевидно, писался весь рассказъ.

Вы, конечно, помните то много комментированное мѣсто, гдѣ проститутка говоритъ цѣломудренному дотолѣ и полному внутренняго сознанія своего самопожертвованія революціонеру:

— Какое-же ты имѣешь право быть хорошимъ, когда я плохая?

Эта постановка совершенно ошеломила революціонера, освѣтивъ ему такія стороны нравственныхъ обязательствъ, о которыхъ онъ никогда не думалъ. Ошеломила она и критику, которая такъ въ ней и не разобралась. Усмотрѣли тутъ какой-то парадоксъ, какое-то совершенно неисполнимое требованіе. Въ самомъ дѣлѣ, что за жестокость лишать человека, всѣмъ жертвующаго, даже сознанія красоты своего самопожертвованія?

Чтобы не спорить, я готовъ допустить, что, какъ отзывалась московская администрація о докторѣ Гаазѣ, тутъ „преувеличенная филантропія“.

Но самая эта преувеличенность, все-таки, чрезвычайно знаменательна, какъ показатель устремленія авторской мысли. Такая мысль могла вырасти только на почвѣ жгучаго интереса къ природѣ самопожертвованія. Знаменитая формула Тютчева гласитъ, что мысль изреченная—есть ложь. И это, конечно, вѣрно, какъ характеристика мукъ слова, какъ

разъясненіе нашего безсилія выразить всю полноту чувствованій нашихъ.

Но, думается, что можно сказать и совсѣмъ наоборотъ: мысль изреченная — есть правда, ибо нѣтъ мысли даже самыхъ гениальныхъ людей, которая родилась бы сама собою, — одиноко, внѣ среды, внѣ условій времени и пространства. И разъ та или другая мысль выдающагося человѣка отлилась въ опредѣленныя формы, значить въ жизни даннаго момента есть реальныя основы для нея, невидимыя для людей менѣе зоркихъ, но ощутимыя для взора проникновеннаго. Вотъ почему и „преувеличенный“, якобы, альтруизмъ „Тьмы“ мнѣ кажется возвѣщеніемъ новаго прилива, новаго возрожденія.

Думается, что подымается гребень большой исторической волны, что обозначается снова одинъ изъ тѣхъ подъемовъ, который въ состояніи творить чудеса! Хочется вѣрить, что этотъ новый подъемъ вынесетъ насъ изъ той глубокой „тьмы“, въ которую мы теперь погружены.

А заслуга Леонида Андреева и въ лицѣ его всей литературы, однимъ изъ лучшихъ выразителей которой онъ является въ наши дни, въ томъ, что зоркимъ взглядомъ онъ пронизалъ облегающую насъ тьму и увидѣлъ свѣтъ въ отдаленіи.

Приложивъ ухо къ землѣ, онъ услышалъ гулъ грядущихъ ликованій.

1908.

Прошло около двухъ лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ были высказаны сейчасъ изложенныя мысли о томъ, смотрѣть-ли на „новыя теченія“ какъ на отступленіе отъ старыхъ завѣтовъ великой русской литературы, или-же какъ на конечное возвращеніе къ нимъ.

Нѣтъ никакихъ основаній что-либо измѣнить въ основномъ моемъ тезисѣ: модернизмъ, съ точки зрѣнія общественной, не побѣдитель, а славный побѣжденный. Все тѣснѣе и тѣснѣе сливаются еще недавно реакціонныя „новыя теченія“ съ общими задачами русской свободной мысли.

А въ свою очередь „новый стиль“, отбрасывая при этомъ экстравагантности и преувеличенія періода борьбы за свое

установленіе, все прочнѣе овладѣваетъ формою русскаго литературнаго творчества.

За короткій промежутокъ, отдѣляющій первое появленіе моего этюда отъ настоящаго переизданія, возникло, однакоже, одно новое литературное настроеніе, которое, съ перваго взгляда, какъ будто наноситъ старымъ завѣтамъ русской литературы еще болѣе сильный ударъ, чѣмъ модернизмъ. Я говорю о столь на шумѣвшемъ московскомъ сборникѣ „Вѣхи“. Но къ этому „походу противъ интеллигенціи“ я вернусь въ слѣдующемъ этюдѣ и, какъ мнѣ думается, смогу вполне убѣдительно показать, что „Вѣхи“—только новая форма исконнаго великаго устремленія русской интеллигентской души къ подвигу.

III.

Героическій характеръ русской литературы.

(Призывъ къ подвигу и неприятіе міра).

Содержаніе.

- § 27. Перенесеніе теоріи борьбы классовъ въ исторію русской литературы.—
§ 28. Разговоръ съ Лавровымъ. Марксъ о характерѣ и результатахъ русскихъ общественно-политическихъ движеній.— § 29. Жажда подвига сообщаетъ героическій характеръ новѣйшей русской литературѣ. Въ этомъ источникъ ея обаянія.— § 30. Классовый отпечатокъ и классовая борьба.— § 31. Писатели-дворяне, разрушающіе соціологическое оправданіе своего класса.— § 32. Чувство не эволюционируетъ. Религіозный характеръ русскаго общественнаго движенія.— § 33. Религіозность, какъ міросозерцаніе и религіозность, какъ темпераментъ.— § 34. Стремленіе къ подвигу въ кружкѣ Станкевича и Вѣлинскаго. Клятва на Воробьевыхъ горахъ.— § 35. «Филантропическія» идеи второй половины сороковыхъ годовъ.— § 36. Плещеевское «Впередъ! Безъ страха и сомнѣнія, на подвигъ доблестный, друзья», какъ историческій документъ.— § 37. Русская литература, начиная съ 40-хъ годовъ, перестаетъ улыбаться и вся уходитъ въ поиски смысла жизни.— § 38. Иди къ униженнымъ, иди къ обиженнымъ.— § 39. Мнимый утилитаризмъ 60-хъ годовъ.— § 40. «Критически-мыслящая личность» по ученію Лаврова.— § 41. Энтузіазмъ народничества 70-хъ годовъ.— § 42. Мужичья беллетристика. Литературное схимничество Глѣба Успенскаго.— § 43. Гаршинскій «Красный цѣтокъ», какъ символъ стремленій 70-хъ годовъ уничтожить зло міра. Настроенія другихъ представителей литературнаго поколѣнія 70-хъ годовъ.— § 44. Гуманизмъ Короленки.— § 45. Надсонъ съ завистью смотритъ на «вѣнецъ терновый». Для Якубовича-Мельшина «спокойное счастье преступно». — § 46. Чтеніе средней публлки 70-хъ годовъ.— § 47. Вліяніе героическаго подъема 70-хъ годовъ на творчество великихъ писателей 40-хъ годовъ.— § 48. Достоевскій не пріемлетъ міра, доколѣ онъ зиждется на неправдѣ.— § 49. Толстой, какъ «кающійся дворянинъ» по преимуществу.— § 50. Уныніе 80-хъ годовъ и творческая тоска Чехова.— § 51. Русскій марксизмъ въ психологической основѣ своей одиороденъ съ кающимся дворянствомъ.— § 52. Эволюція модернизма.— § 53. Походъ «Вѣхъ» противъ интеллигенціи.— § 54. По существу стремленіе «Вѣхъ» поставить проблему усовершенствованія личности не есть-ли возвратъ къ «критически-мыслящей личности» Лаврова? — § 55. Трагизмъ жизни въ пониманіи русскомъ и западно-европейскомъ. Великая печаль литературы русской.
-

§ 27. Перенесение теории борьбы классовъ въ исторію русской литературы.

Читатель припомнить, что первый этюдъ настоящей книги заканчивается такъ:

„Бѣлинскій первый сдѣлалъ основнымъ стремленіемъ литературы—*борьбу за правду*.“

И главная задача историка русскаго литературнаго движенія—ознакомить читателя съ тѣмъ, какъ исполнялся великій завѣтъ Бѣлинскаго, какъ на основѣ его создавалась новѣйшая русская литература—это удивительное сочетаніе художественной красоты и нравственной силы, широты размаха и тоски по идеалу“.

Борьба за правду!

Лѣтъ 10—12 тому назадъ, эта формула не встрѣтила бы сколько-нибудь упорныхъ возраженій ни со стороны заступниковъ „чистаго искусства“, ни тѣмъ болѣе со стороны „общественниковъ“.

Во взглядахъ всякаго „общественника“ борьба за правду, въ формѣ проповѣди борьбы за всеобщее счастье, сама собою предполагается.

Что касается нашего литературнаго консерватизма, то, вѣдь, защитники „чистаго“, свободнаго отъ „политики“ искусства, только ожесточенно нападаютъ на самое привнесеніе „политики“, находя его очень вреднымъ. Фактъ же превращенія литературы въ орудіе пропаганды во имя установленія справедливаго общественнаго строя не отрицается и, съ оговорками, правда, признается *чисто-идейный* характеръ этой пропаганды. Оговорки заключаются въ сожалѣніяхъ относительно окраски проводимыхъ идей, ихъ чрезмѣрной демократичности, чрезмѣрнаго радикализма и даже утопизма, недостаточнаго уваженія къ традиціямъ, устоямъ старины

и т. д. Въ общемъ, конечно, литературный консерватизмъ смотритъ на стремленія, лежащія въ основѣ подавляющаго большинства произведеній новѣйшей русской литературы, какъ на заблужденія вполнѣ идейнаго характера, какъ на уходъ добрыхъ намѣреній въ „дурную“ сторону.

Народившееся [въ концѣ XIX вѣка декадентство и „новыя теченія“ тоже съ ожесточеніемъ] великимъ напали на литературу, создавшуюся на почвѣ вѣрнаго исполненія завѣтовъ эпохи Бѣлинскаго и 60-хъ годовъ. И, опять таки, съ какой точки зрѣнія шло нападеніе? Съ точки зрѣнія, такъ сказать, чрезмѣрности этой идейности, чрезмѣрнаго преобладанія идейно-нравственныхъ задачъ надъ задачею непосредственно-художественною.

Но современному историку литературы приходится столкнуться съ возрѣніемъ, всего менѣе исходящимъ изъ круга консервативныхъ идей и, тѣмъ не менѣе, бросающимъ такой странный свѣтъ на всю исторію русскаго слова, что, право, уже предпочитаешь старыхъ возражателей. Это тоже возрѣніе, тѣсно связывающее литературу съ общественностью. Но уже столь тѣсно, что для литературы въ прямомъ смыслѣ слова и мѣста тутъ не находится. Я говорю о перенесеніи марксистской теоріи борьбы классовъ изъ социологіи въ исторію русской литературы.

Со старыми возражателями справиться можно было какъ? Если не убѣдишь ихъ тѣмъ, что идейность и борьба за правду не только не ослабляютъ художественности, а, напротивъ того, укрѣпляютъ ее, то, въ концѣ концовъ, къ нимъ [можно было обратиться съ такою рѣчью: Милостивые Государи, какъ ни высоко само по себѣ назначеніе искусства, но еще выше выясненіе цѣли и назначенія чело-вѣческаго существованія. Сначала гражданинъ, потомъ писатель. И если обстоятельства слагаются такъ, что только путемъ искусства въ общество могутъ проникнуть идеи правды, добра и справедливости, то пусть уже лучше пострадаетъ художественная красота, нежели останется въ пренебреженіи красота нравственная.

Но вся эта выигрышная позиція совершенно пропадаетъ, когда вамъ заявляютъ, что никакой отвлеченной идейности въ русской литературѣ нѣтъ, а есть просто на просто

борьба узко-сословныхъ *интересовъ*. Не общественность, а сословность. Не *кающийся* дворянинъ якобы даетъ окраску прежнимъ періодамъ русской передовой литературы, а дворянинъ воинствующій, защищающій понятія, которыя обезпечиваютъ преобладаніе его сословія. Теперь же его начали смѣнять и въ будущемъ всецѣло замѣнятъ социальныя слои, пока лишенные господства. Словомъ, борьба по всѣмъ правиламъ и на всѣхъ пунктахъ, не менѣе ожесточенная, чѣмъ борьба въ жизни реальной и экономической.

Таковъ „лейтмотивъ“ не малаго количества появившихся въ послѣднее 10-лѣтіе книгъ и статей по исторіи новѣйшей русской литературы. До извѣстной степени примѣненіе классовой точки зрѣнія къ освѣщенію хода исторіи нашей литературы даже можетъ считаться моднымъ.

Думается, что сколько-нибудь внимательное ознакомленіе съ дѣятельностью наиболѣе вліятельныхъ писателей послѣднихъ 60—70 лѣтъ, создаетъ въ читателѣ убѣжденіе діаметрально-противоположное. Въ частности, задача настоящаго этюда состоитъ въ томъ, чтобы сконцентрировать лозунги всѣхъ періодовъ, на которые распадается исторія новѣйшей русской литературы. И тогда будетъ ясно, что замѣна благороднѣйшихъ особенностей русскаго литературнаго самосознанія подстановкой на мѣсто самоотверженія и самопожертвованія какой-то грубой борьбы находится въ полномъ противорѣчьи съ реальными фактами нашей литературной исторіи.

А предварительно скажу вотъ что:

Мнѣ кажется, что, если на одну минуту допустить примѣнимость теоріи борьбы сословныхъ интересовъ къ исторіи новѣйшей русской литературы, то не только потускнѣетъ вся красота литературы русской, но, что самое важное, станетъ совершенно непонятнымъ, откуда взялась эта никѣмъ не оспариваемая красота.

§ 28. Разговоръ съ Лавровымъ. Марксъ о характерѣ и результатахъ русскихъ общественно-политическихъ движеній.

Не трудно понять, почему перенесеніе теоріи борьбы классовъ въ исторію литературы пользуется несомнѣннымъ успѣ-

хомъ. Увлекши нѣсколькихъ критиковъ эпохи наивысшаго расцвѣта у насъ теоретическаго марксизма, когда внезапный и огромный успѣхъ Максима Горькаго давалъ для нея такую прекрасную опору, эта теорія продолжаетъ находить приверженцевъ не только въ силу своей прямолинейности, всегда соблазнительной.

Тутъ примѣшивается вѣра въ принципъ, только что творившій чудеса.

Только что мы видѣли, какъ приливъ рабочей массы соборилъ такую могучую силу борьбѣ за русскую свободу. Въ сравненіи съ этимъ ураганомъ, сколь ничтожными по результатамъ должны были показаться всѣ долгія десятилѣтія предыдущей борьбы, когда ее вела одна интеллигенція во имя отвлеченныхъ принциповъ. И вотъ создалось обаяніе силы классоваго элемента, какъ главнаго фактора исторической эволюціи. А отсюда уже недалеко до того, чтобы втиснуть все разнообразіе причинъ, обусловливающихъ появленіе тѣхъ или иныхъ литературныхъ теченій въ тѣсныя рамки классовой схемы.

Но дѣйствительно-ли „ничтожны“ были по результатамъ эти долгія десятилѣтія, казалось, совершенно даромъ потраченныхъ героическихъ усилій?

И неволью вспоминается мнѣ одна знаменательная бесѣда, интересная тѣмъ, что изъ нея дѣлаются извѣстными мысли такихъ крупныхъ людей, какъ Марксъ и Лавровъ.

Лѣто 1888-го года я проводилъ въ Парижѣ и часто видѣлся съ П. Л. Лавровымъ. Въ одно изъ своихъ посѣщеній я подѣлился съ нимъ впечатлѣніями, вынесенными изъ рабочаго митинга, который я, первый разъ въ жизни, только что видѣлъ въ Берлинѣ.

Впечатлѣніе, въ общемъ, было какое-то спутанное, недостаточно радостное и, во всякомъ случаѣ, оно совершенно не соотвѣтствовало тѣмъ ожиданіямъ, съ которыми я шелъ на митингъ.

А ожидалъ я услышать пламенные рѣчи, мужественные призывы, громовыя обличенія капитализма, яркія картины эксплуатаціи труда и т. д. Словомъ, ожидалъ что-то въ родѣ тѣхъ бурныхъ студенческихъ сходовъ, которыя такъ

волновали насъ въ концѣ 70-хъ годовъ, такъ подымали нервы и такъ укрѣпляли настроеніе.

Меня постигло полнѣйшее разочарованіе.

То, что я услыхалъ, было очень важно, очень значительно, свидѣтельствовало о громадныхъ успѣхахъ идеи освобожденія труда, но того налета романтики, который придаетъ столько обаянія русскимъ общественно-политическимъ движеніямъ не было и слѣда. За весь вечеръ не было ни одного патетическаго момента, не было сказано ни одной „громкой“ фразы, не было сдѣлано ни одной попытки воздѣйствовать на чувство аудиторіи.

Выходили ораторы, одинъ другого трезвѣе, одинъ другого дѣловитѣе, говорившіе очень плавно и выпукло, но безъ малѣйшаго подъема. Митингъ былъ созванъ въ связи съ забастовкой рабочихъ строительнаго дѣла, и всѣ ораторы съ цифрами въ рукахъ блистательно доказывали, что моментъ стачки выбранъ вполне подходящій, что каждый день разоряетъ подрядчиковъ, обязанныхъ къ осени сдать работы, что предприниматели теряютъ сезонъ дешевизны строительныхъ матеріаловъ, удобства ихъ доставки по сплавному рѣкамъ и т. д.

Всѣ ораторы были простые рабочіе, и русскому слушателю нельзя было безъ жгучей зависти думать о странѣ, гдѣ сознательность стоитъ такъ высоко, гдѣ самый простой чело-вѣкъ такъ опредѣленно умѣетъ формулировать свои требова-нія и такъ твердо, умно и толково отстаивать свои интересы.

И, все таки, я вышелъ изъ залы митинга скорѣе въ подавленномъ, чѣмъ въ приподнятомъ настроеніи.

Преодо мною была борьба, голая борьба, въ значительной мѣрѣ лишенная того, что дѣлаетъ борьбу священной. Было простое, хотя вполне законное, желаніе увеличенія заработка, и безъ того, однако, значительнаго въ такой области квалифицированнаго труда, какъ работа каменщика. Такимъ образомъ, какъ бы исчезла *психологическая* разница между представителями труда и буржуа-предпринимателемъ.

Не было того элемента полного отсутствія чисто-матеріальныхъ выгодъ, которое придаетъ такой возвышенный характеръ русскимъ движеніямъ, гдѣ всѣ только *отрекаются* отъ того, чѣмъ они фактически уже владѣютъ.

Въ русское движеніе идетъ дочь помѣщика и отказывается отъ вѣковыхъ привиллегій, идетъ сынъ фабриканта и брезгаетъ крупными доходами отца. И даже простой рабочій, попадая въ русское движеніе, несомнѣнно теряетъ, потому что въ Россіи, при ужасающей темнотѣ рабочаго люда, всякому сознательному, т. е. болѣе смышленному рабочему чрезвычайно легко стать въ привилегированное положеніе рабочаго высшаго разряда.

И я формулировалъ Петру Лавровичу свои мысли и впечатлѣнія такъ:

Западное пролетарское движеніе, конечно, явленіе и вполне нормальное, и вполне законное. Нравственно-брезгливый человѣкъ долженъ идти навстрѣчу возможно-полному удовлетворенію требованій этого движенія. Но *умиляетъ*, заставляетъ преклоняться предъ собой, открываетъ новые духовные горизонты только русское общественно-политическое движеніе, въ которомъ баринъ и интеллигентъ жертвуютъ всѣмъ своимъ личнымъ счастьемъ и классовыми интересами для того, чтобы мужику и пролетарію было хорошо.

Выслушалъ меня Петръ Лавровичъ, меланхолически улыбнулся и сказалъ:

— Многое изъ того, что вы сейчасъ развивали, говорилъ и я въ бесѣдахъ съ Марксомъ, оспаривая его теорію классовой борьбы, какъ источникъ всякаго политическаго и соціальнаго движенія. Я ему указывалъ на русскія движенія, гдѣ никакой классовой борьбы нѣтъ, гдѣ стимуломъ не только не является приобрѣтеніе новыхъ выгодъ и правъ, а напротивъ того, полный отказъ отъ старыхъ, прочно приобрѣтенныхъ правъ и преимуществъ.

— И знаете, что мнѣ Марксъ на это отвѣтилъ?

— Оттого-то изъ вашихъ движеній ничего и не выходитъ.

§ 29. Жажда подвига сообщаетъ героическій характеръ новѣйшей русской литературѣ. Въ этомъ источникъ ея обаянія.

Въ 1888 году этотъ загробный голосъ геніальнаго соціолога производилъ потрясающее впечатлѣніе своею жесткой и безошадной, но, казалось, несомнѣнной правдой.

Нужно вспомнить, что это было за страшное время.

Побѣдоносцевщина торжествовала побѣду на всѣхъ пунктахъ, а реакція царила не только въ правительствѣ, она захватила и общество. Захватила даже самую чуткую часть общества — молодежь, которая съ какимъ-то чисто-зоологическимъ увлеченіемъ начинаетъ отдаваться наслажденіямъ самаго низменнаго пошиба и демонстративно-презрительно вышучиваетъ недавнее стремленіе къ „облагодѣтельствуванію человѣчества“. Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ, но фактъ, что въ концѣ 1880-хъ годовъ слово студентъ было почти синонимомъ уличнаго и трактирнаго скандалиста.

Въ такой моментъ полного разгрома всякаго намека на оппозиціонное настроеніе, злое слово Маркса поражало силою своей пророческой пронизательности. Выходило какъ по писанному *ad maiorem gloriam* теоріи классовой борьбы. Движенія, затѣянные кучкой кающихся дворянъ и интеллигентовъ, начинали казаться какой-то безумной затѣей, не имѣющей подъ собою никакой почвы и осужденной на вѣрную гибель.

Но кто повторилъ бы насмѣшливый приговоръ Маркса въ началѣ 1900-хъ годовъ, кто повторилъ бы его въ октябрѣ 1905 года, кто повторитъ его даже въ наши кошмарные дни ничѣмъ не прикрытыхъ стараній всячески урѣзывать вырванные у стараго режима уступки? Побѣда, одержанная 17 октября, столь безмѣрна, что ее не въ состояніи ослабить никакая реакція. По счастливому выраженію такого малаго друга свободы, какъ В. В. Розановъ, исчезло то, на чемъ держался старый порядокъ—элементъ фетишизма, инстинктивное обаяніе внутренней силы стараго режима, инстинктивная увѣренность, что онъ важенъ, нуженъ, святъ для страны. Для того, чтобы фактически стоять у кормила правленія, система самовластия должна прибѣгать къ такому напряженію чрезвычайныхъ мѣръ, что это одно дѣлаетъ немислимымъ длительность такой системы. Нельзя же превратить страну въ постоянный военный лагерь.

Допустимъ, однако, что результаты побѣды 17 октября могутъ быть совершенно уничтожены. Предположимъ, наконецъ, что настоящая бесѣда ведется лѣтъ восемь тому назадъ, когда мы такъ благоденствовали, не предаваясь без-

смысленнымъ мечтаніямъ объ участіи народа въ рѣшеніи его собственныхъ судебъ, когда людей ссылали за дерзкія указанія на необходимость прислушиваться къ „голосу земли“, вернуться къ реформамъ Александра II и т. д. Итакъ, допустимъ, что мы отброшены въ глубь Побѣдоносцевщины и спросимъ себя: вѣрно-ли было и тогда насмѣшливое отношеніе къ соціологической цѣнности того самоотреченія, которое составляетъ основу всѣхъ нашихъ общественныхъ движеній.

Я оставляю въ сторонѣ факты политической жизни и останусь въ рамкахъ литературныхъ. Но считая литературу послѣднихъ 70-ти лѣтъ яркимъ выраженіемъ именно чувства самоотреченія лучшихъ русскихъ людей, я настаиваю на отвѣтъ безусловно-отрицательномъ.

Пусть въ мрачные годы Побѣдоносцевщины посѣвы, брошенные въ общественное самосознаніе рядомъ самоотверженныхъ поколѣній, еще таились въ глубинѣ. Пусть всходы еще не показались, пусть нетерпѣливому чувству нѣсколько лѣтъ тому назадъ могло казаться, что мракъ безконечно будетъ царить и заря свободы никогда не взойдетъ надъ русскою землею.

Но и тогда, и 30 лѣтъ тому назадъ, когда Лавровъ спорилъ съ Марксомъ, развѣ можно было сказать, что ничего изъ порывовъ русскаго самоотверженія не вышло?

Какъ ничего не вышло?

Вышло и тогда нѣчто безмѣрно великое, былъ уже на лицо огромный результатъ идеи самоотреченія — пышно расцвѣла новая русская литература, вся на этой идеѣ возросшая. Все, что придаетъ такую красоту русской литературѣ, все, что составляетъ тайну обаятельнаго впечатлѣнія, которое она производитъ на европейскіе умы,—все это кроется въ томъ, что кающійся дворянинъ и интеллигентъ не могутъ примириться съ соціальною и всякою иною неправдою. Выше я опредѣлялъ новѣйшую русскую литературу, какъ „удивительное сочетаніе художественной красоты и нравственной силы, широкаго размаха и тоски по идеалу“. Существеннымъ элементомъ этой тоски является глубокое сознаніе, что на *каждомъ* человѣкѣ лежитъ обязанность такъ или иначе искоренять зло міра. Отсюда прямой

выводъ—личное счастье или преступно, или, въ лучшемъ случаѣ, пошло, ибо *всякій* долженъ быть борцомъ за правду.

И вотъ въ этихъ рамкахъ: надо насаждать правду, надо жертвовать собою для общаго блага или вообще для высшей идеи, пошло отдаваться личному счастью — и развивалась новѣйшая русская литература. Все, что есть замѣчательнаго въ русской художественной литературѣ послѣднихъ 60—70 лѣтъ, исчерпывается этой схемой. Галлерей созданныхъ новѣйшею русскою литературою типовъ, за исключеніемъ, конечно, жанровыхъ и сатирическихъ, сводится къ различнаго рода классовому или личному самоотреченію и самопожертвованію. Смотря по средѣ, это самоотреченіе принимаетъ либо общественныя формы, либо носить характеръ личнаго подвига, какъ напр. у Лизы изъ „Дворянскаго гнѣзда“. Но подкладка остается одна и та же — *жажда подвига*, жажда уступить, отречься, принести себя въ жертву. Отказъ отъ благъ міра во имя чего-то высшаго — подъ эту формулу, столь простую и ясную—великое всегда ясно и просто—подойдетъ и все революціонное въ русской литературѣ, и все просто оппозиціонное, а также подойдутъ и тѣ писатели, которые теоретически отрещиваются отъ стремленій русской интеллигенціи—Достоевскій, Толстой.

И несомнѣнно въ этомъ-то героическомъ характерѣ новѣйшей русской литературы кроется тайна ея обаянія, въ этомъ ея существеннѣйшее отличіе отъ литературы западно-европейской, въ которой главную роль играютъ проблемы себялюбиваго индивидуализма.

§ 30. Классовый отпечатокъ и классовая борьба.

Спѣшу, однако, сдѣлать одну существенную оговорку.

Отрицая классовую *борьбу*, какъ одинъ изъ сколько-нибудь значительныхъ факторовъ исторіи русской литературы, я, однакоже, всего менѣе намѣренъ отрицать въ ней слѣды классоваго *міросозерцанія*.

Было-бы смѣшно не считаться съ тѣмъ, что воспитаніе и вообще пребываніе въ извѣстной средѣ, въ наиболѣе формирующіе человѣка годы, накладываютъ отпечатокъ почти неизгладимый. Конечно, разъ наша культура была дворянская по преимуществу, то и на литературѣ это отразилось:

Конечно, народолюбець Тургеневъ всю свою жизнь и во всѣхъ своихъ произведеніяхъ былъ баринѡмъ. Я даже пойду дальше. Тургеневъ, можетъ быть, по тому самому въ такомъ несомнѣнно приподнятомъ тонѣ воспѣвалъ крестьянство, что не зналъ крестьянскаго быта органически, подходилъ къ нему съ своей точки зрѣнія великаго эстета, страстнаго искателя красоты. И, конечно, при всемъ своемъ историческомъ значеніи „Записки Охотника“ даютъ не подлинную народную жизнь, а пропущенную сквозь призму умственнаго и нравственнаго склада „человѣка сороковыхъ годовъ“. Это великое произведеніе, этотъ нерукотворный памятникъ сороковыхъ годовъ лишь настолько отразилъ народную жизнь, насколько она служила подтвержденіемъ взглядовъ и понятій лучшихъ людей того времени. Смѣшно же, въ самомъ дѣлѣ, думать, что мужикъ сороковыхъ годовъ не пьянствовалъ, что онъ не билъ своей жены, что вообще недостатки, которые составляютъ такую неотъемлемую часть человѣческой натуры, какимъ-то чудеснымъ образомъ миновали мужика. А между тѣмъ „Записки Охотника“ заставляютъ это предполагать. Авторъ не шелъ на встрѣчу жизни такъ, какъ она есть, во всей своей совокупности. Съ поля народной жизни, на которомъ растутъ и крапива, и чертополохъ, и репей, онъ сорвалъ только благоухающіе цвѣты и, дѣйствительно, сдѣлалъ изъ нихъ прекрасный букетъ, но букетъ этотъ слишкомъ праздничень, слишкомъ обманчивъ и не даетъ жизненнаго, реальнаго, будничнаго представленія.

О сверстникѣ Тургенева—Григоровичѣ уже и говорить нечего. Благодаря меньшему таланту, герои его „крестьянскихъ“ повѣстей уже даже не крестьяне, а „пейзаны“.

Но и самъ опростившійся и постоянный деревенскій житель Толстой, несмотря на всю свою несомнѣнную близость къ народу, въ основѣ тоже остается типичнѣйшимъ баринѡмъ. Взять хотя бы то, что для него, никогда не знавшаго лишеній, матеріальная нужда совершенно не жгуча и все его творческое вниманіе устремлено въ сторону бѣдъ духовныхъ. И мужики Толстого въ гораздо бѣльшей степени—воплощеніе думъ автора о нормальномъ строѣ жизни, чѣмъ отраженіе доподлинно-мужицкихъ думъ и доподлинно-мужицкой жизни.

Своего рода антиподомъ Толстого является другой дво-

рянинъ— „пѣвецъ народнаго горя“ Некрасовъ, знающій только нужду, только народную „пѣснь, подобную стону“. Но и въ его, почти исключительно-мрачномъ, изображеніи народный бытъ въ несравненно бѣльшей степени отразилъ покаянныя думы пробудившейся дворянской совѣсти, чѣмъ доподлинную мужицкую жизнь. Не все же было въ ней горе и плачь! Даже знаменитый Власъ, въ изображеніи котораго невѣрующему Некрасову какъ будто удалась такая трудная задача, какъ слиться во едино съ народнымъ возрѣніемъ въ сферѣ религіознаго воодушевленія, развѣ это доподлинный мужикъ? Какъ уже замѣтилъ отчасти Достоевскій, никогда въ настоящей крестьянской жизни тѣ преступленія, которыми якобы отягощена душа Власа, не явились бы столь рѣшающимъ стимуломъ для того, чтобы все бросить и всецѣло отдаться замаливанію страшныхъ грѣховъ. Какія такія великія провинности Власа? Семейный деспотизмъ, кулачество? Это смертельныя грѣхи только съ интеллигентско-дворянской точки зрѣнія кающагося дворянина, выросшаго на идеяхъ 40-хъ годовъ.

Не стану приводить другихъ образчиковъ барско-интеллигентскаго народолюбія. Они прямо безчисленны. Почти все „народничество“ русское построено на идеализированіи, на исканіи Микулъ Селяниновичей, деревенскихъ Лассалей и т. д. На немъ лежитъ опредѣленная печать надуманности, связи не органической, а теоретической. Все это несомнѣнно-барское соболѣзнованіе, и такимъ образомъ классовый *отпечатокъ* тутъ чрезвычайно ярокъ.

Но, вѣдь, не объ этой неизбѣжной связи человѣка и писателя со средой, его воспитавшей, говоритъ теорія классовой борьбы въ литературѣ. Теорія гласитъ, что писатель не только сознательно, т. е. когда онъ опредѣленно выступаетъ въ защиту интересовъ своего класса, но и бессознательно всегда поддерживаетъ *идею* своего класса. Это значитъ, что онъ даже помимо своей воли, наперекоръ своимъ прямымъ желаніямъ, выдвигаетъ такіе идеалы, которые *укрѣпляютъ социальную позицію его класса*.

И вотъ это-то и есть полнѣйшая неправда въ примѣненіи къ исторіи русской литературы. Въ русской литературѣ всю разрушительную работу по отношенію къ строю, осно-

ванному на преобладаніи высшихъ классовъ, продѣляли именно представители этихъ высшихъ сословій—дворяне, конечно, поскольку они были интеллигенціей, поскольку они, по гениальной формулѣ Михайловскаго, были дворянами кающимися, замаливающими грѣхи своего сословія предъ народомъ. Никто не наносилъ такихъ ударовъ *идеи* своего сословія, какъ именно дворяне. И какіе дворяне? Лучшихъ, стариннѣйшихъ родовъ.

На зарѣ зарожденія русской политической мысли вырисовывается Радищевъ—фигура прямо символическая для исторіи русской интеллигенціи, она же исторія кающагося дворянства по преимуществу. Въ моментъ наивысшаго торжества только что дарованной „вольности дворянской“, предоставлявшей одни права, безъ всякихъ обязанностей, Радищевъ испытываетъ только жгучій стыдъ за свое сословіе и весь переполненъ любви къ крѣпостному мужику. Тотъ же стыдъ переполняетъ и лучшихъ представителей „дней Александровыхъ прекраснаго начала“, и декабристовъ, и молодого Пушкина, и тѣмъ паче людей 40-хъ годовъ, славянофиловъ не исключая. Объ этомъ не стоитъ распространяться, потому что фактъ безкорыстнѣйшаго участія лучшихъ элементовъ русскихъ „командующихъ“ классовъ въ лишеніи себя привилегій слишкомъ общеизвѣстенъ. Правда, въ настоящее время умудрились и тутъ найти борьбу классовъ, напр., въ сравнительной умѣренности декабристской программы, съ ея „дворянскимъ“ налетомъ. Но это опять смѣшеніе двухъ вещей, ничего общаго между собою не имѣющихъ: одно дѣло отраженіе классовыхъ *понятій*, т. е. извѣстныхъ взглядовъ, воспринятыхъ изъ общенія съ данною средой, одно дѣло даже классовые и кастовые предразсудки, классовая близорукость и совсѣмъ другое дѣло планомѣрное отстаиваніе соціальной позиціи своего класса. Конечно, съ современной точки зрѣнія широкаго развитія демократическихъ началъ, можно сколько угодно находить дворянскихъ элементовъ въ декабристской программѣ, и, несомнѣнно, ихъ тамъ было достаточно. Но жизненное значеніе всякой программы и всякаго міросозерцанія можно уяснить себѣ достодожнымъ образомъ только во благовременіи, только въ ихъ исторической перспективѣ.

А потому уже лучше положимся на впечатлѣнія современниковъ, которымъ виднѣе было; примемъ лучше къ свѣдѣнію насмѣшки гр. Растопчина, который зло подчеркивалъ, что во Франціи „чернь“ дѣлала революцію, чтобы улучшить свое положеніе, а въ Россіи, наоборотъ, аристократія бунтовала, чтобы доставить свободу черни, а себя лишить основы своего богатства.

§ 31. Писатели-дворяне, разрушающіе соціологическое оправданіе своего класса.

Повторяю, однако, сейчасъ я не собираюсь распространяться объ общеизвѣстномъ фактѣ *сознательнаго*, высоко-безкорыстнаго участія русской привилегированной интеллигенціи въ демократизированіи общественнаго строя. Но мнѣ хотѣлось бы обратить вниманіе на одну сторону этой разрушительной работы, еще мало обращающую на себя вниманіе изслѣдователей. Я говорю о томъ, что съ точки зрѣнія теории борьбы классовъ слѣдовало-бы назвать *безсознательнымъ* укрѣпленіемъ соціальной позиціи своего класса.

Это безсознательное укрѣпленіе, прежде всего, должно было-бы выразиться въ одной чертѣ, относительно которой человѣкъ почти неволенъ—въ инстинктивной любви къ тому быту, который воспиталъ человѣка, въ инстинктивномъ общеніи ему извѣстной пѣтетности, извѣстнаго обаянія, которое, слѣдовательно, косвенно поддерживала-бы идею класса. И вотъ даже этого-то невольнаго идеализированія дворянскаго, чиновническаго и вообще привилегированнаго быта нѣтъ и слѣда въ нашей литературѣ, созданной кающимися дворянами и интеллигентами всякаго рода, соціологически примыкающими къ барству. Для ясности рѣзко выражаясь, можно сказать, что, за немногими исключеніями, вся наша художественная литература есть, начиная съ Гоголя, прямое оплеваніе жизни „командующихъ“ классовъ.

Для иллюстрированія возьмемъ опять сферу крѣпостного права, этого основнаго фактора классическаго періода новѣйшей русской литературы.

Нѣкоторымъ оправданіемъ для крѣпостного права было бы то, что народъ дикъ, а дворянство культурно. Въ наше

время, какъ извѣстно, именно тою частью дворянства, которая всего меньше заботится о соціальной справедливости, выдвинута теорія „культурныхъ гнѣздъ“, которыми яко-бы являются дворянскія усадьбы.

Теперь посмотрите, что дѣлаетъ съ этою культурною миссіею Тургеневъ—самый умѣренный изъ представителей русскаго оппозиціоннаго движенія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самый настоящій „баринъ“ по всему личному складу своей жизни.

Онъ, съ одной стороны, до небесъ превозноситъ, явно при этомъ преувеличивая, нравственныя качества народа. Предъ нами проходятъ величавый Хорь, величавый Овсяниковъ, мрачно-величественный Бирюкъ, поэтичный Касьянъ съ Красивой Мечи, млѣющіе отъ эстетическаго восторга слушатели „Пѣвцовъ“, романтикъ Калинычъ, рядъ симпатичныхъ и поэтическихъ крестьянокъ, милыя дѣти Бѣжина дуга и т. д., и т. д. Въ совокупности такая галлерей, послѣ ознакомленія съ которой въ душѣ cadaго читателя опредѣленно слагалась мысль—и въ этомъ то, вѣдь, и заключается великая историческая заслуга „Записокъ Охотника“:—какъ? эти симпатичные, поэтичные, высокочестные люди лишены элементарнѣйшихъ правъ человѣка, приравнены къ скотамъ какимъ то, съ ними можно поступать какъ угодно? И кто-же властители ихъ судебъ, кто распоряжается жизнью и честью этихъ милыхъ, славныхъ существъ? Отвѣтъ готовъ тутъ-же. Въ тѣхъ же „Запискахъ Охотника“ предъ вами проходитъ и другая галлерей—представители правящаго класса, и они поражаютъ своимъ нравственнымъ безобразіемъ. Если и встрѣчаются между ними порядочные люди, то это или Каратаевъ, кончающій жизнь трактирнымъ завсегдатаемъ, или буянъ Чертопхановъ, или жалкій приживальщикъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда.

Рядомъ съ нравственными уродами, Тургеневъ далъ, конечно, и цѣлую галлерей симпатичныхъ людей и, главнымъ образомъ, рядъ обаятельныхъ женскихъ образовъ. Но вся вѣдь ихъ симпатичность въ томъ и состоитъ, что онѣ исполнены протеста противъ своей среды и рвутся изъ тины „классовыхъ понятій“. Правда, и Лиза Калитина изъ „Дворянскаго гнѣзда“ обаятельна, а между тѣмъ къ разряду протестующихъ ее причислять нельзя. Но мы знаемъ изъ біо-

графіи Лизы, что весь ея нравственный обликъ созданъ подь вліаніемъ воспитавшей ее няни Агафьи. Когда у Лизы на-зрѣваетъ ея послѣднее рѣшеніе—уйти въ монастырь и этимъ отреченіемъ отъ своего счастья создать возможность примиренія Лаврецкаго съ „законной“ женой, то замѣнившая ей мать тетка Лизы говоритъ: „это все въ тебѣ Агашины слѣды, это она тебя съ толку сбילה“. Отъ народа, значить, идетъ душевная красота Лизы. Лиза своего рода выродокъ изъ среды, гдѣ тонъ задаетъ жена Лаврецкаго и ей подобныя.

Что касается симпатичныхъ мужскихъ типовъ Тургенева, то они въ своей совокупности наносятъ безошаднѣйшій ударъ идеѣ соціального преобладанія высшаго класса. Основной типъ Тургенева, всѣ эти слабняки и лишніе люди—что представляютъ они собой, какъ не полное признаніе своей общественной непригодности, полное соціологическое банкротство? Предъ нами, такимъ образомъ, полное соціологическое *самозакланіе*. А тутъ говорятъ, борьба за свою соціальную позицію, инстинктивная идеализація своего класса!

Я нарочно нѣсколько подробнѣе остановился на мягкомъ, добродушномъ и нѣжномъ Тургеневѣ именно потому, что онъ незлобивѣ всѣхъ своихъ литературныхъ сверстниковъ. У тѣхъ уже сплошная черная краска. У Салтыкова, напр., тоже отпрыска древнѣйшаго боярскаго рода и воспитанника „кастоваго“ Лицея. Самый озлобленный пролетарій, во имя самой безошадной классовой борьбы не былъ бы въ состояніи нарисовать болѣе мрачной картины дворянскаго быта, чѣмъ „Пошехонская Старина“. Прямо ужасъ охватываетъ отъ этого безпросвѣтнаго мрака и царства грубѣйшихъ инстинктовъ, не смягченныхъ даже узами семейной привязанности. Тотъ же безпросвѣтный мракъ царствуетъ и у Некрасова въ его изображеніяхъ помѣщичьяго быта. На этомъ мрачномъ фонѣ вырисовывается только одна свѣтлая фигура—страдалица—мать, потому и страдалица, что попала въ дикую, варварскую среду. А какую грязь и тину помѣщичьяго и провинціально-дворянскаго быта разворачиваютъ „реальныя“ произведенія Писемскаго! При этомъ чрезвычайно характерно вотъ что. Извѣстно, что Писемскій занимаетъ совсѣмъ особое мѣсто въ ряду своихъ литературныхъ сверстниковъ, идеалистовъ по преимуществу. Онъ безнадеж-

ный скептикъ по отношенію къ „возвышенности“ человѣческихъ чувствъ. Съ какимъ то даже наслажденіемъ „трезвый“ Писемскій показываетъ намъ, „сколько мерзости и дрянности сидитъ въ каждомъ такъ называемомъ *порядочномъ* человѣкѣ“. И вотъ этотъ-то трезвѣйшій „реалистъ“, а подчасъ и просто циникъ, создавшій цѣлую галерею дряблыхъ и дрянныхъ персонажей изъ дворянской среды, создалъ одинъ изъ самыхъ импонирующихъ въ русской народнической литературѣ типовъ—Ананія изъ „Горькой Судьбины“. По вѣрному замѣчанію А. Г. Горнфельда, „Писемскій, спускаясь въ нѣдра народной жизни, оставлялъ свой обычный скептицизмъ и создавалъ живые типы хорошихъ людей, столь рѣдкіе въ его произведеніяхъ изъ быта культурныхъ классовъ. Общій духъ морали, разлитой въ мужицкомъ мірѣ *Горькой Судьбины*, неизмѣримо выше удручающей атмосферы *Боярщины* или *Богатаго Жениха*“.

Вотъ вамъ борьба классовъ даже въ произведеніяхъ писателя, весьма мало причастнаго къ „идеямъ“.

Но, конечно, самый ужасный ударъ „идеѣ“ правящаго класса эпохи крѣпостного права нанесенъ „Обломовымъ“. При добромъ желаніи можно требовать отвода Гончарова, на томъ основаніи, что по происхожденію онъ не дворянскаго рода, а купческаго. Но такой отводъ едва-ли будетъ достоинъ серьезной теоріи, такъ какъ соціологически преуспѣвающій чиновникъ Гончаровъ всецѣло примыкаетъ къ „командующему“ классу.

Безмѣрно выше „нѣдра народной жизни“ у Толстого, и безмѣрнымъ презрѣніемъ обдастъ онъ весь укладъ своего „класса“. Чтобы выяснитъ всю несообразность желанія втиснуть Толстого въ рамки „дворянской идеологіи“, нѣтъ даже надобности особенно напирать на „Смерть Ивана Ильича“, „Крейцерову Сонату“, „Плоды просвѣщенія“, „Воскресеніе“ и другія произведенія послѣднихъ 30 лѣтъ, гдѣ не осталось ни одной невысмѣянной и неосужденной черточки изъ жизни высшихъ классовъ. Нѣтъ надобности напирать и на то, что и во всѣхъ произведеніяхъ перваго періода барство въ лицѣ Нехлюдова, Оленина, Пьера пасуетъ передъ народомъ и людьми простой жизни, что мудрость Платона Каратаева возведена прямо въ перлъ созданія. И

въ первомъ, и во второмъ періодѣ Толстой не смотрѣлъ на народъ, какъ на „младшаго брата“, котораго надо „поднять“ до себя. Толстой всегда думалъ, что, совсѣмъ наоборотъ, народъ безконечно выше культурныхъ классовъ и что господамъ надо заимствовать высоты духа и мудрости у мужиковъ. Но, повторяю, по отношенію къ Толстому нѣтъ надобности выдвигать его столь ясныя и яркія симпатіи къ народу. Вопросъ о социологической окраскѣ дѣятельности великаго писателя слѣдуетъ разсматривать съ болѣе общей точки зрѣнія. Ясно-же, что разрушительная работа Толстого идетъ безконечно дальше тѣсныхъ предѣловъ сословной борьбы. Онъ не то, что классы, онъ всю культуру радъ упразднить. Толстой, расшатывающій всѣ устои церковной, государственной и культурной жизни, уже, конечно, въ корнѣ расшатываетъ самую *возможность* преобладанія одного класса надъ другимъ, а не то что содѣйствія ему.

Другой вопросъ, конечно, что при всѣхъ своихъ разрушительныхъ тенденціяхъ, „анархизмъ“ Толстого какъ то совсѣмъ особенный, и что на немъ лежитъ неизгладимая печать барства. Но не устанемъ-же проводить самую рѣзкую демаркаціонную линію между классовымъ отпечаткомъ и классовой борьбой и признаемъ, что по скольку слово властно что-либо сдѣлать, едва-ли кто-либо столько сдѣлалъ для разрушенія аристократическаго строя жизни, сколько аристократъ Толстой. Помимо своего художественнаго значенія, Толстой великъ тѣмъ, что внесъ броженіе и разрушительную критику отживающихъ вѣрованій и понятій въ такіе слои, которые до него никакими „проклятыми“ вопросами не занимались.

Ко всему сказанному о крупнѣйшихъ дѣятеляхъ русскаго художественнаго слова, остается прибавить, что отцами теоретическаго анархизма въ Европѣ являются родо-витый Бакунинъ и рюриковичъ Кропоткинъ, а первыми провозвѣстниками социализма въ Россіи были богатый Герценъ и богатѣйшій Огаревъ. И тогда можно будетъ принять, какъ совершенно безспорный фактъ, слѣдующее положеніе:

Вся задача «дворянской» литературы сводилась къ тому, чтобы показать неправомѣрность и социологическое банкротство идеи правящаго класса.

§ 32. Чувство не эволюционируетъ.—Религіозный характеръ русскаго общественнаго движенія.

Корни отказа русской интеллигенціи отъ классовыхъ преимуществъ, тѣсно связаннаго съ отказомъ отъ личнаго счастья и чисто-религіозной готовностью самопожертвованія, можно прослѣдить очень далеко. Эволюционируетъ, вообще, не сущность народной и литературно-общественной психологіи, а проявленія ея. Не увеличивается и не уменьшается самый занасъ идеализма, а измѣняется его устремленіе. У Бѣлинскаго, напр., былъ дѣдъ-праведникъ въ народномъ пониманіи этого слова, т. е. отшельникъ, монахъ. Дѣдъ пошелъ въ келью, внукъ остался въ міру и прослылъ „разрушителемъ“. Но самый порывъ къ тому, въ чемъ каждый видѣлъ спасеніе души, въ нихъ одинъ и тотъ-же. Различны пути, по которымъ шли дѣдъ и внукъ, но направлялись они къ одной и той же цѣли—къ восторженному исполненію того, что каждый изъ нихъ считалъ священнымъ завѣтомъ. Дѣдъ, конечно, не зналъ мукъ сомнѣній, не переживалъ трагедіи поисковъ опредѣленнаго идеала. На его долю выпало счастье непосредственной, ясной вѣры. Но и вѣра внука въ тѣ моменты, когда онъ приходилъ къ опредѣленному выводу, была не менѣе ясна. И его душа въ эти моменты восторженно и сладко замирала при сознаніи, что ему открывается смыслъ жизни, и его душа наполнялась истинно-молитвеннымъ восторгомъ. Онъ славословилъ своего Бога съ неменьшею убѣжденностью, чѣмъ дѣдъ, и экстазъ его статей и писемъ не уступалъ экстазу молитвъ и канонъ дѣда.

Итакъ, эволюционируетъ не сущность, а формы. Вотъ почему источникъ того порыва къ подвигу, который я считаю основною особенностью новѣйшей русской литературы и въ которой вижу главный источникъ ея обаянія, можно было бы прослѣдить далеко въ глубь русской исторіи.

Нетрудно, напр., провести прямую психологическую нить отъ протопопа Аввакума и самосожигателей вплоть до самопожертвованія и борьбы за свои идеи самыхъ послѣднихъ лѣтъ. Это одинъ и тотъ же благородный металлъ, только въ разныхъ обработкахъ.

Но я останусь приблизительно въ предѣлахъ послѣднихъ 70 лѣтъ. И только раньше, чѣмъ перейти къ указанію той психологической атмосферы, тѣхъ душевныхъ настроеній, изъ которыхъ вышла новѣйшая литература, я считаю важнымъ подчеркнуть одну изъ наиболѣе замѣчательныхъ особенностей ея, которая связываетъ въ одно великое цѣлое все, что есть въ ней властнаго и руководящаго.

Я говорю о *религіозномъ характерѣ* русскихъ общественныхъ движеній и какъ отраженіи ихъ—о религіозномъ характерѣ нашихъ литературныхъ настроеній, благодаря чему литература у насъ превратилась въ настоящее священнодѣйствіе, въ спасаніе души.

§ 33. Религіозность какъ міросозерцаніе и религіозность какъ темпераментъ.

По первому впечатлѣнію, подчеркиваніе религіознаго характера новой русской литературы, этого органическаго и самаго совершеннаго продукта думъ и чаяній нашей якобы „безвѣрной“ интеллигенціи, вызываетъ недоумѣніе. Это потому, что у насъ принято разсматривать религіозность исключительно какъ *міросозерцаніе*, т. е. какъ извѣстную сумму *представленій* о Божествѣ, церкви, загробной жизни т. д. Но въ § 21 я уже выяснялъ въ какой степени религіозность настоящая, т. е. *чисто-мистическая* готовность всѣмъ пожертвовать во имя того, что считаешь святыней, составляетъ самую основную черту русской интеллигенціи. Скажу опять, что религіозенъ всякій, у кого *его* Богъ не только на языкѣ, но и въ сердцѣ. А въ чемъ онъ видитъ Бога своего—это его дѣло. Сущность религіозности въ экстазѣ, въ глубинѣ проникновенія.

Когда мнѣ въ докладахъ, а затѣмъ и въ печати, приходилось развивать тѣ мысли о религіозности русской интеллигенціи, которыя изложены въ § 21, это вызывало возраженія, часто весьма энергичныя. И притомъ возраженія шли отъ людей діаметрально-противоположныхъ міровоззрѣній.

Люди, смотрящіе на религію съ точки зрѣнія церковной, утверждали, что основою религіозности отнюдь не можетъ

считаться соотвѣтствіе слова съ дѣломъ — это есть нравственность, а не религіозность. Не есть религіозность и отчетливая глубина убѣжденности, потому что религіозность базируется на всегда смутномъ и неопредѣленномъ чувствѣ вѣры. Основа религіозности, по мнѣнію церковниковъ, исключительно въ непрекословномъ подчиненіи высшей силѣ, *внѣ* насъ находящейся и все устрояющей ко благу.

Съ другой стороны, люди позитивнаго мышленія никакъ не хотѣли признать мистическаго элемента въ готовности отстоять тѣ принципы общественности и морали, въ превосходствѣ которыхъ русскій интеллигентъ такъ глубоко убѣжденъ по мотивамъ чисто-логическимъ.

Я не вижу необходимости сколько-нибудь обстоятельно вступать здѣсь въ споръ съ этими возраженіями. Скажу только кратко, что религія безъ нравственности мнѣ представляется простымъ суевѣріемъ. А что касается того, что русская интеллигенція пришла къ своему міропониманію и къ своимъ общественно-политическимъ идеаламъ путемъ логики, то, конечно, это совершенно бесспорно по отношенію къ *содержанію*. Конечно, чисто-логическимъ путемъ усвоенія научныхъ методовъ были разрушены разныя представленія въ сферѣ космогоническихъ и моральныхъ понятій. Конечно, совсѣмъ не нужно быть человѣкомъ религіознымъ, чтобы, изучивъ порядки болѣе совершенной западно-европейской жизни, придти къ убѣжденію, что порядки русскіе никуда не годны и хорошо бы ихъ вырвать съ корнемъ. Это все, дѣйствительно, одна голая логика. Но почему-же я-то, все-таки, долженъ страдать изъ-за того, чтобы распрекрасные порядки пересадить въ Россію? Почему мнѣ-то, какъ совершенно логично вопрошалъ Базаровъ, должно быть интересно, чтобы у Сидора и Филиппа была изба бѣлая, а изъ меня бы въ это время лопухъ росъ? Вотъ у Достоевскаго „человѣкъ изъ подполья“ категорически заявляетъ: пусть погибнетъ весь свѣтъ, но чтобы у меня чай былъ—это логика, дѣйствительно, желѣзная. А у русскаго народолюбца 1870-хъ годовъ, который совершенно опредѣленно зналъ, что онъ погибнетъ въ качествѣ всего-на-всего второго вала, право же не было никакой „логики“, а одна мистика, религіознѣйшій изъ религіозныхъ порывовъ.

Повторяю, однако, что мнѣ совсѣмъ нѣтъ надобности сейчасъ пускаться въ сложный споръ о сущности религіозности. Предпочитаю сдѣлать одно добавленіе, при которомъ, какъ мнѣ кажется, и церковническія, и позитивныя возраженія противъ религіознаго характера подвижничества русской интеллигенціи теряютъ свое значеніе. Перенесемъ, въ самомъ дѣлѣ, свое вниманіе на *эмоціональную* сторону религіозности, что особенно важно, когда мы ведемъ рѣчь о литературѣ, которая вся въ эмоціональности. И вотъ мнѣ думается, что, если мы возьмемъ религіозность не какъ *міросозерцаніе*, не какъ богословіе, не какъ теодицею, а какъ *темпераментъ*, какъ особый психологическій строй, то возраженія противъ эпитета религіозности въ приложеніи къ русской интеллигентской психологіи уже навѣрное отпадутъ. Кто-же, напр., не упрекалъ русскую интеллигенцію въ *фанатичности*, кто не корилъ ее тѣмъ, что она *слѣпо* повируется тѣмъ или другимъ лозунгамъ, „безъ критики“, на *спру* ихъ принимаетъ? А это-ли не характерные признаки всякой религіозности, хотя и весьма отрицательные. Наконецъ, съ точки зрѣнія реальныхъ психологическихъ чертъ, съ точки зрѣнія опредѣленныхъ душевныхъ эмоцій, какъ вы различите мученичество религіозное отъ мученичества во имя той или другой соціологической идеи? Психологическій субстратъ, строеніе психологической клѣточки, если можно такъ выразиться, въ обоихъ случаяхъ буквально одни и тѣже.

Прослѣдимъ же теперь главные этапы своеобразной, но оттого не менѣе глубокой религіозности русской интеллигенціи, которая и сообщила особый отпечатокъ излюбленному дѣтищу своему—новѣйшей русской литературѣ. Русскій писатель пишетъ не для забавы читателя, онъ знаменоносець, онъ священнодѣйствуетъ, онъ *призываетъ къ подвигу* и *непріятію міра* доколѣ міръ этотъ несовершененъ.

§ 34. Стремленіе къ подвигу въ кружкѣ Станкевича и Бѣлинскаго.—
Клятва на Воробьевыхъ горахъ.

Поколѣніе сороковыхъ годовъ въ началѣ своего литературно-общественнаго поприща было религіозно и въ обычномъ смыслѣ слова. Особенно тотъ человекъ, духовная красота котораго оставила такой неизгладимый слѣдъ въ сердцахъ всѣхъ его сверстниковъ. Я говорю о безвременно угасшемъ на порогѣ такъ много сулившей жизни Станкевичѣ. Станкевичъ былъ богатый, красивый, умный, въ веселыя минуты очень остроумный, въ серьезныя „небесный“, а въ общемъ обаятельнѣйшій юноша, равно очаровывавшій женщинъ и мужчинъ, юношей и пожилыхъ. Такому бы человеку только и пользоваться всѣми ниспосланными ему благами, тѣмъ болѣе, что при всей своей „небесности“ Станкевичъ очень любилъ жизнь.

Вокругъ чего, однако, вертится душевная жизнь этого человека. „Я не молюсь о своемъ счастьи, съ меня довольно быть человекомъ. Я говорю: Господи! буди въ сердцѣ моемъ и дай мнѣ совершить *подвигъ на землѣ*“—вотъ на разные лады повторяемый лейтмотивъ лучшей части его духовнаго наслѣдства—переписки съ друзьями. Вся она, при всей своей интимности, пересыпанная шутками и остроумиями, есть одна неустанная проповѣдь добра и одинъ призывъ къ подвигу. Задача человека, по Станкевичу, единственно въ томъ, чтобы дѣлать добро, добро и добро. Для этого „дѣланія“ надо себя подготовить самосовершенствованіемъ. Надо очистить свою душу и просвѣтить свой умъ.

Самому Станкевичу не было дано совершить подвигъ жизни въ той единственной формѣ, которая тогда была мыслима, къ тому-же для человека, крайне умѣреннаго въ политическомъ отношеніи,—на поприщѣ литературномъ.

У разнообразно-даровитаго Станкевича не было сколько-нибудь яркаго литературнаго таланта. Но зато ему суждена была другая великая роль—оказать рѣшающее вліяніе на міросозерцаніе и эстетическіе вкусы своихъ знаменитыхъ друзей. И формулированная имъ первымъ задача—*жизнь какъ подвигъ* одновременно съ тѣмъ, какъ она была формулирована въ собраніяхъ кружка Станкевича, получила

яркое выраженіе и въ литературѣ. Уже въ первой большой статьѣ Бѣлинскаго пламенно возвѣщенъ основной тезисъ новой русской литературы—*есть два пути* устроить свою жизнь, но тотъ, кто имѣетъ настоящее представленіе о достоинствѣ человѣка, избираетъ тернистый путь самоотреченія.

„Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ“, восклицаетъ Бѣлинскій въ „Литературныхъ Мечтаніяхъ“ 1834 года. „Но не забывай, что Божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствованіе; а дѣйствованіе есть борьба; не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего я въ чувствѣ любви. Итакъ, вотъ эти двѣ дороги, два неизбѣжныхъ пути: *отрекись отъ себя*, подави свой эгоизмъ, *попри ногами твое своекорыстное я*, дыши для счастья другихъ, жертвуй всёмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять *въ уничтоженіи твоего я*“.

Какимъ семинарскимъ риторизмомъ, какую пошлою банальщиною, да и просто какимъ противнымъ лицемѣріемъ и фарисействомъ звучать такого рода призывы въ устахъ обычныхъ проповѣдниковъ добра. Но въ устахъ „неистоваго Виссаріона“ это была настоящая программа жизни и потому настоящій крикъ восторженнаго сердца. Черезъ всю статью проходитъ пламенная проповѣдь нравственнаго подвига. Она, прежде всего, конечно, характеризуетъ самого Бѣлинскаго. Но такъ какъ намъ извѣстна тѣснѣйшая связь возрѣвнѣй Бѣлинскаго съ настроеніями всего кружка, то передъ нами тутъ не просто статья, а манифестъ цѣлаго поколѣнія.

Впослѣдствіи Бѣлинскій говорилъ объ „абстрактномъ героизмѣ“ своей юности и ругалъ себя за это, требовалъ героизма, направленнаго на борьбу съ реальной дѣйствительностью. Но дѣло вѣдь не въ томъ, „абстрактенъ“ или не абстрактенъ героизмъ, а чтобы онъ былъ. Остальное приложится, остальное—дѣло естественной эволюціи. Ге-

роизмъ русской интеллигенціи развивался вполнѣ органически: сначала „абстрактно“ нарастала въ сердцѣ жажда подвига, не зная себѣ опредѣленнаго примѣненія, потомъ она перешла въ литературу въ формѣ защиты униженныхъ и оскорбленныхъ, а затѣмъ уже перешла и въ жизнь практическую, въ формахъ болѣе активныхъ.

Конечно, „абстрактнымъ“ героизмомъ чистѣйшей воды отзывается и клятва на Воробьевыхъ горахъ, которую дали другъ другу Герценъ и Огаревъ. Но отъ этого не мѣняется ея значеніе, какъ характеристики тѣхъ великодушныхъ настроеній, которыя составляютъ основу психологіи всего поколѣнія сороковыхъ годовъ. Еще отроки, но отроки даровитые и образованные, мучительно задумывавшіеся надъ несовершенствами политическаго и общественнаго строя Россіи, Герценъ и Огаревъ во второй половинѣ 1820-хъ годовъ стояли у порога жизни, сулившей имъ однѣ радости. Принадлежа къ семьямъ, еще болѣе богатымъ, чѣмъ Станкевичъ, Герценъ и Огаревъ въ еще болѣе степени, слѣдовательно, имѣли возможность использовать всѣ блага земныя. Герценъ былъ человѣкъ очень порывистый и всего менѣе аскетическихъ вкусовъ. Но только что совершившаяся казнь декабристовъ дѣйствуетъ на начинающее слагаться міросозерцаніе опредѣленнымъ образомъ. Умные мальчики пока еще не знакомы, но они уже настроены одинаково, и, когда знакомство состоялось, у нихъ была готовая почва для сближенія. У общаго любимца Шиллера имъ нравилось одно и то же: все то, гдѣ рѣчь шла объ общественномъ подвигѣ. А тамъ уже „отъ Мѣрса, шедшаго съ кинжаломъ въ рукавѣ, „чтобъ городъ освободить отъ тирана“, отъ Вильгельма Теля, поджидавшаго на узкой дорожкѣ въ Кюснахтѣ фохта—переходъ къ 14 декабря былъ легокъ“. На самихъ себя они начинаютъ смотрѣть, какъ на „сосуды избранные, предназначенные“. Для чего предназначенные, во имя чего избранные? Это опредѣлилось почти инстинктивно и выразилось въ очень наивной, но оттого не менѣе знаменательной формѣ. Оба друга въ прекрасный лѣтній вечеръ, въ сопровожденіи старшихъ, совершаютъ прогулку. „Мы ушли впередъ и, далеко опередивши, вобѣжали на мѣсто Витбергова храма на Воробьевыхъ горахъ.

Запыхавшись и покраснѣвши, стояли мы тамъ, обтирая потъ“. „Садилось солнце, купола блестѣли, городъ стлался на необозримое пространство подъ горой, свѣжій вѣтерокъ подувадь на насъ; постояли мы, постояли, оперлись другъ на друга и, вдругъ обнявшись, присягнули, въ виду всей Москвы, пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу“.

Тутъ все характерно: и внезапность, значить, глубокая искренность порыва, и форма—клятва, и вся вообще роман-тичность обстановки: дѣло точно происходитъ въ оперѣ. Характерна именно эта ярко-выраженная „абстрактность“, это полное отсутствіе какихъ бы то ни было реальныхъ источниковъ озлобленія.

Почему идиллія лѣтняго вечера, обыкновенно настраиваю-щая на миръ и прощеніе, тутъ, напротивъ того, толкнула на борьбу? Зачѣмъ, вообще нужна „борьба“ юношамъ, ко- торымъ живется такъ „пышно и богато“, которые, только пожелай они это,—попадутъ и въ блестящіе кавалергарды, и въ шикарные чиновники особыхъ порученій и вообще въ „вихрь наслажденій“. А ихъ тянетъ къ подвигу, который очень скоро принялъ совсѣмъ не „абстрактныя“ формы: обоихъ поклявшихся юношей ждала тюрьма и ссылка.

§ 35. „Филантропическія“ идеи второй половины сороковыхъ годовъ.

Къ срединѣ 1840-хъ годовъ „абстрактный“ героизмъ руководящихъ кружковъ получаетъ новое направленіе подъ вліяніемъ социалистическихъ идей, шедшихъ изъ Франціи послѣднихъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа. Тамъ разгорался пожаръ, искры котораго перебрасывались во всѣ концы Европы и подготовляли 1848 годъ, „das tolle Jahr“, какъ его прозвали нѣмцы. Благодарнѣйшую почву нашли себѣ французскія идеи въ русскихъ умахъ и въ особенности въ сердцахъ, уже гордившихся своимъ „высокимъ назначеніемъ“, уже молившихся о „подвигѣ жизни“, уже поклявшихся вести „борьбу“, но еще не знавшихъ какъ приложить все это къ русской дѣйствительности. Интересъ къ социальнымъ ученіямъ становится теперь всеобщимъ. Ими увлекаются даже зарывшіеся въ самыхъ сухихъ предме-

тахъ спеціалисты, какой-нибудь ориенталистъ-тюркологъ Григорьевъ, или нумизматъ Савельевъ. Нью-Ланаркъ Роберта Оуэна, Икарія Кабэ, фаланстеры Фурье были злобой дня, составляли живой интересъ каждой интеллигентной бесѣды. Увлекалъ тутъ именно утопизмъ, манила ширь и даль, но чуткая совѣсть вмѣстѣ съ тѣмъ быстро нашла и менѣе утопичное примѣненіе.

Салтыковъ-Щедринъ кратко, но чрезвычайно ярко формулировалъ общее настроеніе эпохи. Какъ и во всѣхъ молодыхъ людяхъ конца 40-хъ годовъ, въ Салтыковѣ бродилъ неопредѣленный и туманный „соціализмъ“, нашедшій свое выраженіе въ повѣсти „Запутанное дѣло“, благодаря которой онъ въ 1848 г. попалъ въ Вятку. И вотъ, вспоминая въ „За рубежомъ“ пору молодости, тѣ настроенія, подъ влияніемъ которыхъ написалось „Запутанное дѣло“, Салтыковъ говоритъ: „Изъ Франціи,—разумѣется, не изъ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а изъ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ—лилась въ насъ *вѣра въ человечество*; оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ не позади, а впереди насъ“.

Въ этомъ извѣстномъ историческомъ свидѣтельствѣ драгоценны не только факты, но и общій тонъ. Рѣчь какъ будто идетъ о политико-экономическихъ теоріяхъ, но на самомъ дѣлѣ воспоминанія расшевелили въ суровомъ сатирикѣ только память сердца. Тутъ не „борьба классовъ“, а *человѣчество*, не политическая экономія, а *вѣра*, и эта вѣра воспринята не сухо-логически, потому что факты и цифры неотразимы,—она возсіяла. И какъ характерно затѣмъ въ политическую экономію Луи-Блана огромнымъ клиномъ врѣзалась романистка Жоржъ-Зандъ. Но разъ однимъ изъ исходныхъ пунктовъ являются мечты о наступленіи „золотого вѣка“, то почему бы романисткѣ и не играть тутъ первенствующей роли?

Необыкновенно яркое пробужденіе *общественнаго чувства* въ концѣ сороковыхъ годовъ сказалось на всѣхъ отрасляхъ литературной производительности эпохи. Молодые писатели, чуткіе ко всему искреннему и убѣжденному, какимъ-то совершенно стихійнымъ образомъ, точно сговорившись и почти въ одинъ и тотъ же годъ предстали предъ изумленною

публикою съ рядомъ превосходныхъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежали широкія общественныя тенденціи. Явился Григоровичъ съ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, въ которыхъ впервые былъ показанъ человѣкъ въ крѣпостномъ мужикѣ. Явился Тургеневъ съ „Записками Охотника“, въ которыхъ то-же желаніе очеловѣчить мужика было проведено съ еще большей теплотою. Явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ вліяніемъ „мечты и звуки“ и посвятившаго отнынѣ свою музу народнымъ страданіямъ и психологіи народной души. Эта-же широкая общественная тенденція лежала въ основѣ двухъ талантливыхъ произведеній, задавшихъ выясненіемъ семейныхъ отношеній—Искандеровскаго „Кто виновать“ и „Полиньки Саксъ“ Дружинина. „Обыкновенная исторія“ Гончарова, благодаря сухости авторскаго темперамента, является какъ бы проповѣдью карьеристской „дѣловитости“, но по намѣреніямъ авторскимъ она должна была отразить собою „первое мерцаніе сознанія необходимости труда, настоящаго, не рутиннаго, живого дѣла въ борьбѣ съ всероссійскимъ застоємъ“. Не особенно былъ причастенъ къ „идеямъ вѣка“ Писемскій. Но эти „идеи вѣка“ просто въ воздухѣ были разлиты, ими была проникнута каждая журнальная статья и статейка. И вотъ даже Писемскій, совершенно въ сторонѣ стоявшій отъ передоваго движенія, въ первомъ своемъ серьезномъ произведеніи — превосходной „Боярщинѣ“ настолько рѣзко поставилъ вопросъ о правахъ любящаго сердца, что цензура 1847 года, пропустившая „Кто виновать“ и „Полиньку Саксъ“, не пропустила „Боярщины“. Нужно-ли много говорить о томъ, насколько рѣшительно примыкали къ новому теченію „Бѣдные люди“ Достоевскаго и „Запутанное дѣло“ Салтыкова? Нѣтъ надобности удлиннять нашъ перечень разными второстепенными произведеніями, повѣстями Дурова, Буткова, прозою Некрасова и т. д. О литературѣ того или другого періода судятъ по выдающимся произведеніямъ, а я ихъ назвалъ всѣ, и всѣ они убѣждаютъ насъ въ томъ, что одна волна захватила лучшую и талантливейшую часть литературы, въ одномъ и томъ же направленіи работали всѣ молодые умы.

§ 36. Плещеевское „Впередь! Безъ страха и сомнѣнья, на подвигъ доблестный, друзья“ какъ историческій документъ.

Какъ смотрѣла литературная молодежь на свое дѣло?

Просто какъ на новые пути въ литературѣ, какъ на новыя темы, новую область воспроизведенія, или она связывала себя съ какими-то иными задачами? Знала-ли она, наконецъ, что избранный ею путь тернистъ и труденъ?

Знала, несомнѣнно знала, совершенно опредѣленно считала себя призванной къ *подвигу* и въ подвигъ видѣла свое историческое назначеніе. Яркое выраженіе этого сознанія мы находимъ въ знаменитомъ стихотвореніи Плещеева „Впередь“, которое для насъ въ данномъ случаѣ имѣетъ прямо значеніе историческаго документа. На него обыкновенно смотрятъ, какъ на искренній, но общаго характера призывъ, не имѣющій прямого отношенія къ опредѣленной эпохѣ. Но въ дѣйствительности только что выступившій на литературное поприще 22-хъ лѣтній поэтъ съ буквальной точностью отразилъ въ своемъ стихотвореніи всю полноту восторженно-самоотверженныхъ настроеній молодого литературнаго поколѣнія. Не простымъ литературнымъ приемомъ были первыя строки:

„Впередь! безъ страха и сомнѣнья
На *подвигъ доблестный* друзья!“

Для современнаго читателя стихотвореніе можетъ показаться собраніемъ общихъ мѣстъ. Но подставьте подъ вынужденно-гуманныя выраженія болѣе точныя, и предъ нами полное отраженіе міросозерцанія молодой литературы, которая поэтому съ восторгомъ и заучивала наизусть стихотвореніе Плещеева. Это своего рода марсельеза поколѣнія 40-хъ годовъ, въ которой за „словами“ стоитъ опредѣленное „дѣло“. Всѣ главныя мѣста стихотворенія имѣютъ опредѣленное, только отъ цензуры забронированное значеніе. *Подъ знаменемъ науки* на условномъ языкѣ того времени означало позитивное мышленіе и критическое отношеніе къ официальной религіозности. *Любви ученіе*—это шедшія изъ Франціи социалистическія идеи, которыя, какъ мы знаемъ изъ

свидѣтельства Салтыкова, именно элементомъ „любви“ привлекали сердца кающагося дворянства. *Жрецъ грѣха и лжи* — ни мало не были риторическою фигурою. А, главное, не былъ простою риторическою фигурою призывъ къ *подвигу доблестному*. Предъ нами дальнѣйшій этапъ литературно-общественной эволюціи. Смиренная молитва Станкевича „дай, Господи, совершить подвигъ на земли“ была безгранично искренна, но слишкомъ обща и неопредѣленна. Въ призывѣ Плещеева этой неопредѣленности уже несравненно меньше. „Подвигъ“ Станкевича можно толковать разнo, но подвигъ, на который зоветъ Плещеевъ, ясенъ — это подвигъ общественно-политическій. Даровитый критикъ Валеріанъ Майковъ, сверстникъ Плещеева, единомышленникъ и еще въ ббльшей степени, чѣмъ онъ, выразитель настроенія молодого поколѣнія 40-хъ годовъ писалъ въ своей рецензіи (1847) на первый сборникъ стихотвореній молодого поэта:

„Плещеевъ нерѣдко говоритъ въ своихъ стихахъ о самомъ себѣ; но это не плаксивыя жалобы на судьбу, не стоны разочарованія, не тоска по утраченномъ личномъ счастьи, — нѣтъ! это — вопли души, раздираемой сомнѣніемъ, глухая упорная битва съ дѣйствительностью, безобразіе которой глубоко постигнуто поэтомъ и среди которой ему душно и тѣсно, какъ въ смрадной темницѣ. Онъ хотѣлъ бы выломать желѣзныя рѣшетки, отворить двери и окна, чтобы пропустить въ это жилище мрака и зловонія живительный лучъ солнца, благоуханную струю свѣжаго воздуха, дать отогрѣться и вздохнуть вольною грудью страдающимъ, изнеможеннымъ и безсильнымъ братьямъ“.

Тутъ тоже все забронировано для цензуры, которая всегда пугается словъ, но, къ счастью, не придаетъ значенія лежащей въ основѣ мысли. Подъ библейскими образами и разными риторическими фигурами недремлющее око ничего не разглядѣло ни въ стихахъ Плещеева, ни въ комментаріяхъ въ родѣ Майковскаго, полагая, что все тутъ такъ же абстрактно и внѣ времени и пространства, какъ въ „Пророкъ“ Пушкина и Лермонтова. Но въ дѣйствительности тутъ было совершенно реальное, если не рѣшеніе, то стремленіе „выломать“ рѣшетки и дать „отогрѣться страдающимъ, изнеможеннымъ и безсильнымъ братьямъ“.

На реальность этого стремления особенно ярко указывает послѣдняя, многознаменательная строка:

Чтобъ рокъ вдали намъ не сумилъ.

Это цота, *впервые взятая*. И не случайность, что тутъ было скрыто настоящее пророчество, смутное, но вмѣстѣ съ тѣмъ живое предчувствіе грядущихъ страданій. Черезъ два года юному автору призыва къ подвигу доблестному, вмѣстѣ съ Достоевскимъ и двумя десятками такихъ же увлеченныхъ „любви ученіемъ“ молодыхъ „Петрашевцевъ“, пришлось стоять на эшафотѣ въ ожиданіи смерти. Это была, конечно, одна изъ самыхъ дикихъ расправъ даже въ достаточно богатой подобными расправами исторіи россійской юстиціи. Людей приговорили къ смертной казни за разговоры, за чтеніе письма Бѣлинскаго къ Гоголю. Но вмѣстѣ съ тѣмъ отживающей строй имѣлъ всѣ основанія встать на дыбы. Опредѣлилась цѣлая полоса, непримиримо ему враждебная, опредѣлилось настроеніе, которое въ своемъ логическомъ развитіи не могло не привести къ полному разгрому стараго режима.

§ 37. Русская литература, начиная съ 40-хъ годовъ, перестаетъ улыбаться и вся уходитъ въ поиски смысла жизни.

Петрашевцевъ раздавили, заставили пережить ожиданіе смерти, отъ котораго нѣкоторые съума сошли, затѣмъ размѣстили по „мертвымъ домамъ“ и дисциплинарнымъ баталіонамъ.

Но нельзя раздавить чувства и настроенія, опредѣленно созрѣвшія въ умахъ и сердцахъ. Мнимый „заговоръ“ Петрашевскаго былъ только рельефно-обрисовавшейся ячейкой большого цѣлага. Пользуясь терминологіей безсовѣстнаго сыщика Липранди, слѣдуетъ констатировать, что такія „засѣданія“, какъ на пятницахъ у Петрашевскаго, происходили по всѣмъ угламъ Россіи, когда сходились люди, живущіе высшими интересами, такой „гнусный либерализмъ“, такія „вредныя“ идеи „пропагандировались“ всякимъ, въ комъ житейская проза не убила запросовъ сердца и совѣсти. Правильно говорилъ затѣмъ Липранди и о „провинціальныхъ

паствахъ“ Петрашевцевъ, о томъ, что идеи ихъ „посѣяны“ и „принесли болѣе или менѣе плоды въ разныхъ мѣстахъ государства“. Нелѣпо только, что напуганному воображенію умирающаго режима тутъ мерещились „обширныя и далеко пущенныя отрасли“ организованнаго заговора, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ тутъ было цѣлое общественное теченіе, считающее своихъ приверженцевъ тысячами. Могучее общественное движеніе, наступившее послѣ Крымской войны такъ внезапно и стремительно, было бы совершенно непонятнымъ явленіемъ, если бы мы не знали, что сѣмена новаго міросозерцанія были брошены раньше, что кружокъ Петрашевцевъ былъ только однимъ изъ многочисленныхъ ему подобныхъ кружковъ.

Противъ самаго главнаго ничего не могли сдѣлать и самыя драконовскіе приговоры. Вся новая литература уже сплошь была заражена стремленіемъ къ Плещеевскому „подвигу доблестному“, вся она насквозь пронизывается аскетически-героическимъ характеромъ. Русская литература, можно сказать, навсегда перестала улыбаться, вся ушедши въ поиски смысла жизни. Ни у одного изъ представителей великой плеяды 40-хъ годовъ вы не найдете счастливой развязки, которою не брезгаютъ и такіе чуткіе ко злу жизни писатели, какъ Диккенсъ, напр. Искатели правды и подвига становятся центральными типами русской литературы. Сердца дѣвушекъ Тургенева можно покорить только призывами къ борьбѣ съ косностью и пошлостью жизни. Я еще вернусь къ Достоевскому, а пока спрошу: куда какъ не къ величайшему прославленію подвига отнесемъ мы дѣятельность писателя, создавшаго образы Сони Мармеладовой и князя Мышкина?

§ 38. Иди къ униженнымъ, иди къ обиженнымъ.

Всего опредѣленнѣе всякое настроеніе выражается въ поэзіи. И неудивительно, что ярче другихъ, можетъ быть художественно и болѣе одаренныхъ, изъ писателей 40-хъ годовъ провелъ сквозь литературную дѣятельность свою завѣты эпохи Бѣлинскаго Некрасовъ.

Про Виктора Гюго восторгающіеся имъ французы говорили, что онъ былъ не просто поэтъ, не просто выдающаяся

писательская личность, а цѣлое учрежденіе. Про Некрасова можно сказать то-же самое. Его общественное значеніе значительно превышало его индивидуальныя дарованія. Это настоящій Тиртей общественнаго подвига, на немъ въ буквальномъ смыслѣ слова воспитался рядъ поколѣній русскихъ народолюбцевъ, для которыхъ имя его, несмотря на всѣ сплетни, было прямо священнымъ. Когда Достоевскій на похоронахъ Некрасова, желая, конечно, сказать нѣчто высоко-лестное не то, что приравнялъ, а сопоставлялъ Некрасова съ Пушкинымъ, кругомъ раздались крики молодежи: „онъ выше Пушкина, выше“. Здѣсь сейчасъ нѣтъ никакой надобности указывать, въ какой мѣрѣ эти крики несостоятельны эстетически. Я сейчасъ говорю о Некрасовѣ не индивидуально, а беру его какъ реальный фактъ русской литературной исторіи. И съ этой точки зрѣнія ясно, въ какой мѣрѣ восторженная оцѣнка провожавшей своего кумира молодежи важна для характеристики того, чего ищетъ русская душа въ литературѣ. Она ищетъ прежде всего призыва къ подвигу. И вотъ почему она этого проповѣдника, неустанно, всею совокупностью своей дѣятельности звавшаго къ подвигу, и поставила выше того поэта, художественныя силы котораго столь несомнѣнно значительнѣе, крупнѣе, впрочемъ, и съ чисто-эстетической точки зрѣнія литературныхъ силъ Некрасова.

Въ ряду Некрасовскихъ призывовъ къ подвигу для насъ сейчасъ особенный интересъ представляетъ пѣсня Гриши изъ послѣдней части „Кому на Руси жить хорошо“. Предъ нами не только предсмертный завѣтъ самого Некрасова, но и послѣдній завѣтъ эпохи Бѣлинскаго. Некрасовъ закончилъ тѣмъ, съ чего началъ Бѣлинскій. Если мы отнесемъ къ пѣснѣ Гриши, какъ мы отнесли къ Плещеевскому „Впередъ“, т. е. какъ къ историческому документу, то увидимъ, что черезъ 42 года Некрасовъ буквально повторяетъ тѣ лозунги, которые Бѣлинскій въ 1834 году давалъ въ „Литературныхъ Мечтаніяхъ“. Какъ и Бѣлинскій, Некрасовъ прежде всего устанавливаетъ, что

Средь міра дольнаго
Для сердца вольнаго
Есть два пути.

Какъ и Бѣлинскій, Некрасовъ ярко рисуетъ молодому уму соблазны и опасности обоихъ путей:

Взвѣсь силу гордую,
Взвѣсь волю твердую
 Какимъ идти?..
Одна просторная
Дорога торная
 Страстей раба.
По ней громадная
Къ соблазну жадная
 Идетъ толпа.
О жизни искренней
О цѣли выпренней
 Тамъ мысль смѣшна.
Кипитъ тамъ вѣчная
Безчеловѣчная
 Вражда—война
За блага бранныя;
Тамъ души плѣнныя,
 Въ цѣпяхъ умы.
Ключомъ кипящая,
Тамъ жизнь мертвящая,
 Тамъ—царство тьмы.

Но не даромъ, однако, прошли 42 года. Дифференцировалась русская мысль, и вмѣсто неопредѣленныхъ по существу указаній „абстрактнаго героизма“ Бѣлинскаго, Некрасовъ даетъ указанія, по формѣ хотя и туманно выраженные, но для русскаго читателя 1870-хъ годовъ достаточно ясныя:

Иные—чистые
Пути тернистые
 Обрѣтены:
Иди къ униженнымъ,
Иди къ обиженнымъ
 По ихъ стопамъ.
Гдѣ трудно дышится,
Гдѣ горе слышится,
 Будь первый тамъ.

Я утверждаю, что ни въ одной литературѣ нѣтъ ничего подобнаго по *категоричности*. Или герой, или къ „соблазну жадный“. Средняго пути нѣтъ.

И его въ душевной жизни русской интеллигенціи дѣйствительно нѣтъ. Откровенно, безъ внутренняго презрѣнія къ самому себѣ, устраиваютъ у насъ свое личное благополучіе только Чичиковы. Вся европейская литература полна благожелательно обрисованныхъ типовъ людей, пробивающихъ себѣ „дорогу въ жизни“. Въ нѣмецкой литературѣ, начиная съ Шиллеровской „Пѣсни о Колоколѣ“ идеаль мущины—тотъ, кто „устраиваетъ свою судьбу“, добивается „положенія въ свѣтѣ“. У насъ-же, повторяю, объ этомъ заботятся только Чичиковы, у насъ пріобрѣтатель—достояніе сатириковъ и предметъ злого вышучиванія. Исключеніе составляетъ только одинъ Гончаровъ, мѣщанское міровоззрѣніе котораго пыталось возвести на нѣкій пьедесталь Штольца и Адуева. Но попытка эта потерпѣла полнѣйшее фіаско. И Штолецъ, и Адуевъ были вышучены критикою, а Гончаровъ несмотря на крупный талантъ, въ числѣ „всероссійскихъ фаворитовъ“ не состоялъ.

Даже *средній* россійскій человѣкъ, если онъ не лишенъ извѣстныхъ нравственныхъ запросовъ, какъ-то стѣсняется спокойно владѣть и пользоваться своимъ достояніемъ. Возьмемте, въ самомъ дѣлѣ,—чтобы оставаться въ предѣлахъ литературы 40-хъ годовъ—ту банальнѣйшую чету, которую Григоровичъ изобразилъ въ своей „Деревнѣ“. И самъ Григоровичъ, и молодые помѣщики его, всего менѣе люди радикальнаго образа мыслей. И, все таки, само собою такъ сдѣлалось, что какъ только они попали въ деревню, они не могли отдаться созерцанію красотъ природы и отдались филантропіи. Изъ другихъ второстепенныхъ писателей 40-хъ годовъ умѣреннѣйшій Дружининъ заставляеть одно изъ дѣйствующихъ лицъ „Полиньки Саксъ“, человѣка совсѣмъ не зараженнаго „идеями“, очень жовіальнаго и убѣжденнаго поклонника „de la dive bouteille“, т. е. попросту бутылки, *терять аппетитъ*, когда тотъ попадаетъ въ деревню, гдѣ его окружили крестьянскія „руины и госпитальныя фізіономіи“. Заставить героя своего потерять аппетитъ отъ вида крестьянской нищеты—это ужъ значило перенести вопросъ изъ

сферы государственныхъ соображеній на почву личной нравственности и сказать, что вопросъ о счастьи народа на совѣсти каждаго порядочнаго чловѣка. И такъ ставилъ вопросъ не „соціалистъ“, не „знаменоносець“, а „милѣйшій изъ консерваторовъ“, какъ называлъ Дружинина Тургеневъ.

Способность терять аппетитъ такъ и осталась характернѣйшею чертою русской интеллигенціи, окрасившей все что есть замѣчательнаго въ русской литературѣ. Въ этомъ ея главное отличіе отъ литературы западно-европейской, гдѣ тоже, конечно, поднимаются разные соціальные вопросы, но какъ-то совсѣмъ по иному, безъ потери аппетита. Изъ головы тамъ это все выходитъ, изъ желанія устроить личное благополучіе, изъ „борьбы классовъ“, наконецъ—по отношенію къ западно-европейской литературѣ я ее не отрицаю, а не изъ сердца и не изъ запросовъ чуткой совѣсти. Вспомните „Люцернъ“ Толстого. Равнодушно внимала фэшенебельная европейская публика игрѣ нищаго музыканта и ничѣмъ не отозвалась. Только у русскаго туриста зашевелилась мучительная дума. Этотъ туристъ былъ богатый и знатный чловѣкъ, но неотступно его грызла мысль: почему такое неравномѣрное распредѣленіе, какъ можно наслаждаться, когда возлѣ тебя страданіе?

§ 39. Мнимый утилитаризмъ 60-хъ годовъ.

На рубежѣ дореформенной Россіи и Россіи „эпохи великихъ реформъ“, людей 40-хъ годовъ смѣняетъ новое поколѣніе „дѣти“, „нигилисты“, „реалисты“, „утилитаристы“.

Историческая точность требуетъ установить, что на первыхъ порахъ, или вѣрнѣе въ теоріи, новое поколѣніе какъ-то къ подвигу не готовилось. Какъ это ни странно съ перваго взгляда, но фактъ тотъ, что какъ разъ начальные годы реформенной Россіи характеризуются даже извѣстнымъ ослабленіемъ *теоретической* пропаганды идеи подвига. Тургеневъ, съ его тонкимъ чутьемъ, вѣрно схватилъ настроеніе, когда заставлялъ Базарова произнести свою знаменитую фразу: „и что мнѣ съ того, что у мужика Филиппа изба будетъ хороша, а изъ меня лопухъ будетъ расти“. То, что наговорилъ Писаревъ по поводу „Отцовъ и дѣтей“, то, что подѣ

девизомъ протеста противъ стѣсненія личности онъ проповѣдывалъ, совершенно отодвигало на второй планъ идею подвига во имя свѣтлаго будущаго, а на первый ставилъ принципъ наслажденія настоящимъ и „разумный эгоизмъ“. Въ словахъ Базарова исчезло то *органическое* проникновеніе идеею безсмертія, которое такъ характерно для мнимо-„невѣрующихъ“ народолюбцевъ русскихъ. Русскій народолюбецъ на словахъ отвергаетъ безсмертіе — онъ, видите-ли, „материалистъ“ — но всеми дѣлами и помыслами своими только и живетъ тѣмъ, что будетъ въ ту пору, когда изъ него лопухъ будетъ расти и взойдутъ сѣмена, брошенные имъ въ глубокомъ сознаніи, что ему самому никогда не видѣть ихъ всходовъ.

И сейчасъ вернусь къ тому, въ какой мѣрѣ теорія „разумнаго эгоизма“ сходилась въ дѣятельности лучшихъ людей новаго поколѣнія съ *практикою*. А сначала я хотѣлъ бы подчеркнуть, что ослабленіе элемента подвига вполне естественно въ такую эпоху *торжества*, какими для новыхъ идей были 60-е годы. Въ ходѣ развитія каждой идеи есть обстоятельства *наружно-враждебныя*, а на самомъ дѣлѣ споспѣшествующія, и наоборотъ: моменты побѣдъ, страшные тѣмъ, что власть человѣка портитъ и опьяняетъ. Въ подготовительные моменты отстаиванія и борьбы за извѣстную идею, страданія укрѣпляютъ и очищаютъ носителей ея. И еще не было примѣра идеи, которую загубили-бы внѣшнія преслѣдованія, напротивъ того — онѣ даютъ внутреннюю силу. Но, къ сожалѣнію, вѣрно и обратное: нѣтъ почти ни одной идеи, которая, восторжествовавъ, не потеряла-бы части своей *нравственной красоты*. Достаточно вспомнить христіанство первоначальное и христіанство историческое, французскую революцію въ эпоху 1789 г. и терроръ 1793 г., наконецъ въ наши дни — великій подъемъ 1905 года, испакощенный и изгаженный максимализмомъ. Огромная опасность грозитъ также въ эпоху торжества каждой идеѣ со стороны стадности и примыканія мутныхъ элементовъ. Въ каждое торжествующее, то есть сильное, становящееся стихійнымъ, движеніе неизбежно, вмѣстѣ съ потокомъ благороднаго металла, вливаются шлаки и всяческая иная нечисть.

Всего этого не избѣгли 60-е годы. Начать со стадности.

Какая идея
да восторжествовала

такъ с
вошли
и

Кто-кто только не объявилъ себя прогрессистомъ, когда съ наступленіемъ новыхъ вѣяній стремленіе къ прогрессу было утверждено и одобрено начальствомъ.

Даже Бенедиктовъ, недавній пѣвецъ женскихъ прелестей, и Розенгеймъ, по минованіи надобности вернувшійся въ лоно казеннаго патріотизма, проливали обильныя гражданскія слезы. О „честности высокой“ заговорили чиновники особыхъ порученій, о необходимости обновленія вопила мелкая, крикливая, не всегда грамотная „абличительная“ литература, какъ ее вполне справедливо охарактеризовалъ Достоевскій. Все это, несомнѣнно, принизило движеніе, ввело въ него хоть и прогрессивную, а все-же пошлость. А затѣмъ къ этой, въ общемъ весьма умѣренной, стадной прогрессивности, чутко прислушивавшейся къ камертону властей предержавшихъ, присоединилась уже совсѣмъ не умѣренная, но оттого не менѣе противная „радикальная Ноздревщина“, какъ ее опредѣлилъ Герценъ.

И вотъ, въ результатѣ этого прилива неблагородныхъ примѣсей получилось на первыхъ порахъ ослабленіе того идеализма, которымъ сильно было прежнее поколѣніе.

Картина пошлаго радикализма, которую Тургеневъ нарисовалъ въ лицѣ Кукшиной и ея друзей въ „Отцахъ и Дѣтяхъ“ и въ злобныхъ выходкахъ „Дыма“ была частичною правдою. И самое печальное—этотъ вульгарный радикализмъ, думавшій только о розахъ, а не о терніяхъ всякаго новаго историческаго пути, заслонялъ ту идеалистическую и самоотверженно-аскетическую подкладку, которую такъ легко усмотрѣть и въ мнимомъ реализмѣ Писарева, и въ мнимомъ утилитаризмѣ Чернышевскаго. И статьи высоко-даровитаго Писарева, упразднявшія „эстетику“ и все что не „полезно“, и теорія „разумнаго эгоизма“, которую проповѣдывалъ Чернышевскій, были крайне односторонне истолкованы первымъ періодомъ „нигилизма“ исключительно какъ проповѣдь полного нестѣсненія. Въ дѣйствительности же, если мы присмотримся и къ Писареву, и особенно къ „Что дѣлать“, мы тотчасъ же откроемъ тутъ черты, которыя и эту проповѣдь односторонне-понятой свободы личности вводятъ въ обычныя героическія схемы и рамки русской литературы. Въ особенности „Что дѣлать“.

Всячески вышучивая „идеализм“, Писаревъ, конечно, считалъ себя „реалистомъ“ чистѣйшей воды. Но было бы очень близоруко повѣрить ему въ этомъ. Также близоруко, какъ вѣрить русскимъ „невѣрующимъ“, объявляющимъ себя таковыми. На самомъ дѣлѣ, памятуя, что главное свойство всякаго романтика есть экзальтація, нельзя не признать Писарева типичнѣйшимъ романтикомъ, только влюбленнымъ не въ заоблачныя мечты, а въ естественныя науки. И естественныя науки сами по себѣ, какъ методъ, какъ содержаніе, ни мало не интересовали недавняго филолога. Его манила только ширь обобщеній, только заманчивая даль. И оттого онъ съ такимъ восторгомъ уже, конечно, всего меньше „реалистичнымъ“, т. е. сухо-разсудочнымъ, съ такимъ зажигающимъ увлеченіемъ говорилъ о томъ, что на мѣсто упраздненной „эстетики“ слѣдуетъ поставить естественныя науки, что дѣйствительно сумѣлъ свое увлеченіе передать читателямъ. Есть цѣлый рядъ признаній современныхъ натуралистовъ, свидѣтельствующихъ, что первая сѣмена стремленія къ естествознанію въ нихъ заронили статьи Писарева, съ ихъ широкими перспективами проникновенія въ самую „суть“ вещей, съ ихъ заманчивыми увѣреніями, что только на основѣ „реальныхъ“ знаній можно устроить свою жизнь „истинно-человѣческимъ“ образомъ.

Такимъ-же по существу романтикомъ Писаревъ является и въ своей поддержкѣ выдвинутаго Чернышевскимъ „разумнаго эгоизма“ и неограниченной свободы чувства или, вѣрнѣе, чувственности. Какъ характерно, напр., что вся эта проповѣдь относится къ тому времени, когда онъ, за участіе въ распространеніи прокламацій, лучшіе годы молодости проводилъ въ Петропавловской крѣпости. Хорошъ „разумный эгоизмъ“.

Въ Петропавловской-же крѣпости создано евангеліе „разумнаго эгоизма“—знаменитый романъ Чернышевскаго „Что дѣлать“. Мнѣ уже приходилось отмѣтить въ § 21, что проповѣдь „разумнаго эгоизма“ у Чернышевскаго, котораго, по личнымъ его качествамъ, товарищи по семинаріи, уже послѣ его смерти и будучи въ епископскомъ санѣ, характеризовали, какъ „ангела во плоти“, была въ сущности игрою словъ. Тотъ „эгоизмъ“, къ которому Чернышевскі

хочет свести лучшія движенія нашей души,—весьма своеобразный. Оказывается, что человекъ, поступаая благородно, дѣйствуетъ такъ не для другихъ, а исключительно для себя. Онъ поступаетъ хорошо, потому что поступать такъ доставляетъ ему удовольствіе. Такимъ образомъ, дѣло сводится къ простому спору о словахъ. Не все-ли равно, чѣмъ мотивировать самопожертвованіе? Важно только то, что является охота жертвовать собою. Въ трогательно-наивныхъ стараніяхъ Чернышевскаго убѣдить людей, что поступать хорошо не только возвышенно, но и „выгодно“ ярко сказался только высокій строй души самого проповѣдника „разумнаго эгоизма“, столь оригинально понимавшаго „выгоду“.

Жизнерадостно-настроенный читатель начала 60-хъ годовъ обратилъ преимущественное вниманіе на ту часть романа, гдѣ рѣчь шла о свѣтломъ будущемъ, на розовые сны героини романа Вѣры Павловны. Въ этихъ снахъ аллегорически были воплощены политико-экономическіе идеалы Чернышевскаго о равномѣрномъ распредѣленіи богатствъ, о первенствующей роли трудящихся и т. д. Будущее рисовалось въ такихъ исключительно свѣтлыхъ очертаніяхъ, что отпадало самое важное при осуществленіи всякихъ новыхъ идеаловъ—тѣ жертвы, которыя выпадаютъ на долю пионеровъ.

Однако, рядомъ съ розовыми снами, манившими лишь къ наслажденію, центральное положеніе въ романѣ занимаютъ фигуры Рахметова и Лопухова. И уже эти фигуры принадлежатъ къ самымъ яркимъ проявленіямъ того героическаго духа, которымъ красна и крѣпка русская литература. Суровый аскетъ Рахметовъ всецѣло занятъ тѣмъ, чтобы закалить себя для общественнаго подвига и является провозвѣстникомъ общественно-политическаго движенія 70-хъ годовъ. А Лопуховъ симулируетъ самоубійство и покидаетъ родину, чтобы дать возможность любимой женѣ сойтись съ другимъ полюбившимся ей человекомъ безъ тѣхъ неудобствъ, которыя всегда, и въ особенности полвѣка тому назадъ, были связаны съ „незаконнымъ“ бракомъ. Это называется „разумнымъ эгоизмомъ“!

Въ настоящее время накопилось уже достаточно матеріаловъ для біографіи Чернышевскаго, чтобы совершенно кате-

*не это и
иронія и с!*

горически установить, что въ лицѣ Лопухова авторъ „Что дѣлать“ далъ свою собственную психологію, свою собственную готовность пожертвовать рѣшительно всѣмъ для нѣжно-любимой жены и для блага дѣтей своихъ. А сверхъ того, какъ разъ теперь, когда пишутся эти строки, въ „Рус. Богатствѣ“ появляются матеріалы, проливающіе столь ослѣпительный свѣтъ на эту „Лопуховскую“ психологію создателя теоріи „разумнаго эгоизма“, что, не смотря на всю краткость настоящаго обзора этапныхъ пунктовъ русскаго литературно-общественнаго героизма, объ нихъ слѣдуетъ сказать особо.

Отправленный въ Сибирь, Чернышевскій лишился всякихъ средствъ къ существованію. Семья его неизбежно была обречена на большія лишенія, и заботы о ней легли большимъ бременемъ на близкихъ ему людей, въ томъ числѣ на его двоюроднаго брата Пыпина, которому въ то время и самому приходилось туго послѣ того, какъ онъ потерялъ профессуру. Сознаніе того, что онъ сталъ бременемъ для дорогихъ ему людей, страшно угнетало любвеобильнаго Чернышевскаго. И вотъ онъ создаетъ хитрѣйшій планъ порвать съ семьей, для которой теперь ничего не можетъ сдѣлать и тѣмъ самымъ освободить ее отъ заботъ о себѣ. Простая просьба забыть его не приводитъ къ цѣли. Такъ, онъ хотѣлъ-бы, чтобы жена воспользовалась судебнымъ приговоромъ, получила-бы разводъ и вмѣстѣ съ этимъ возможность вступить въ новый бракъ. Жена, однако, не соглашается. Онъ хотѣлъ-бы также освободить Пыпина отъ заботъ о своей особѣ, но и Пыпинъ, для котораго Чернышевскій былъ не только кузеномъ, но и духовнымъ отцомъ, тоже не соглашается. Какъ тутъ быть? Чернышевскій задумываетъ тогда *возстановить* противъ себя и жену, и Пыпина. Онъ, это олицетвореніе неумолимой безпощадности въ литературѣ, но человѣкъ, по истинѣ „ангельски“-деликатный въ жизни частной, становится грубымъ и придиричивымъ въ письмахъ, онъ хочетъ донять своею неблагодарностью людей, къ которымъ страстно привязанъ, чтобы они, наконецъ, „плюнули“ на него и выбросили его изъ сердца своего. Цѣлый годъ длится это планомѣрное возбужденіе враждебнаго къ себѣ отношенія. Конечно, въ концѣ концовъ, хитрая интрига не удалась. Но совершенно несомнѣнно,

что Чернышевскій игралъ съ огнемъ. Долго-ли возстановить противъ себя молодую, красивую женщину, отъ которой и безъ того требовалось много мужества? Трудно-ли, затѣмъ, поселить къ себѣ враждебное чувство въ душѣ труженика, изнемогающаго въ борьбѣ за собственное существованіе? А самое главное тутъ—на какую муку обрекалъ себя Чернышевскій, давъ такое направленіе своимъ сношеніямъ съ дорогими дѣтьми? Огромно значеніе заочной ласки даже въ самой обыкновенной разлукѣ. Но сколь безмѣрно возрастаетъ значеніе дружественнаго общенія въ той ужасной обстановкѣ, въ которой очутился Чернышевскій, въ безысходной и безнадежной тоскѣ человѣка, чувствующаго себя заживо погребеннымъ.

И вотъ почему интрига Чернышевскаго противъ самого себя мнѣ представляется самымъ высшимъ сортомъ героизма, который только можно себѣ вообразить. Въ самомъ самоотверженномъ героизмѣ нетрудно выдѣлить моментъ удовлетворенія тѣмъ, что этотъ вашъ героизмъ возбуждаетъ восторженное сочувствіе и удивленіе окружающихъ. Въ связи съ тургеневскимъ „Рудинымъ“, критика 60-хъ годовъ правильно устанавливала типъ людей, готовыхъ идти даже на смерть, но съ условіемъ, чтобы въ это время вся Европа на нихъ смотрѣла. Сочувствіе скрашиваетъ самую неприглядную обстановку, вливаетъ сладость въ самыя нестерпимыя муки. А нашъ апостолъ „эгоизма“, да еще „разумнаго“, добровольно лишаетъ себя этого душевнаго бальзама—единственно во имя того, чтобы хотя чисто-отрицательнымъ путемъ что-нибудь сдѣлать для блага близкихъ своихъ. Это-ли не жертва величайшая, это-ли не героизмъ, какой-то даже сверхчеловѣческій?

Владиміръ Соловьевъ былъ человѣкъ міросозерцанія діаметрально-противоположнаго міропониманію 60-хъ годовъ вообще, а Чернышевскаго въ частности, и потому, конечно, мало склонный къ идеализированію ихъ. Но чутье правды помогло ему, однако, отлично распознать полное противорѣчіе между теорією и практикою „разумнаго эгоизма“ и выразить это въ удивительно-остроумной шуткѣ. Позитивистъ 60-хъ годовъ, говоритъ Соловьевъ, строилъ такой силлогизмъ: „человѣкъ происходитъ отъ обезьяны,

следовательно положимте душу свою за благо ближних своих“.

Всякій, кто хоть сколько-нибудь вдумается въ героическіе образы Рахметова и Лопухова-Чернышевскаго согласится, что въ гениальной шуткѣ Соловьева кроется истинное пониманіе психологіи главныхъ теоретиковъ полосы „разумнаго эгоизма“, говорившихъ одно, а поступавшихъ совсѣмъ по иному.

§ 40. «Критически-мыслящая личность» по ученію Лаврова.

Но и въ теоріи скоро выяснилась для лучшихъ элементовъ несостоятельность утилитаризма, не дававшего логической основы порывамъ къ самопожертвованію, низводившаго до нуля значеніе идеальныхъ интересовъ, и въ томъ числѣ искусство. Крѣпнеть сознаніе, что однимъ разрушеніемъ стараго и стремленіемъ къ матеріальной „пользѣ“ не проживешь. Уже въ срединѣ 60-хъ годовъ исключительно отрицающій „нигилизмъ“ начинаетъ исчезать, возникаетъ потребность въ выработкѣ идеаловъ положительныхъ, подготавливающая эпоху наивысшаго расцвѣта альтруизма—семидесятые годы. Окраску общественной мысли 70-хъ годовъ даетъ не грубоватый „разночинецъ“, выступившій въ началѣ 60-хъ годовъ съ *требованіями* равноправности для себя, а, напротивъ того, *отказывающійся* отъ своихъ историческихъ правъ „*кающійся дворянинъ*“, желающій искупить и загладить вину своего сословія передъ народомъ. Психологія „кающагося“ дворянства, сказавшись уже въ Радищевѣ, проходитъ, конечно, красною нитью чрезъ всю исторію многострадальной русской интеллигенціи. Но въ 70-хъ годахъ острота сознанія своей исторической вины передъ народомъ достигаетъ напряженія чрезвычайнаго. Всѣ фракціи радикальной мысли одинаково сливаются въ одномъ общемъ, страстномъ стремленіи всецѣло отдать себя служенію народу, жертвуя для этого всѣми личными интересами. Ни одна эпоха русской исторіи не видала такого накопленія идеальныхъ стремленій. Твердая рѣшимость дѣйствительно положить душу свою за благо ближняго своего становится какъ-бы *массовымъ* свойствомъ. Сословный и личный эгоизмъ ка-

жется прямо отвратительнымъ, и только полное подчиненіе единичныхъ интересовъ общественному благу удовлетворяетъ нравственно-чуткаго человѣка.

Лозунгомъ 70-хъ годовъ становится ученіе Лаврова о роли личности въ исторіи, разработанное имъ во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ, главнымъ образомъ въ его „Историческихъ Письмахъ“ (1866—68).

Это ученіе сводилось къ тому, чтобы показать огромное и даже рѣшающее значеніе личности въ ходѣ всемірно-историческаго процесса.

Всего менѣе отрицая, что личность есть продуктъ физическихъ и историческихъ условій, Лавровъ, все-таки, настаиваетъ на томъ, что окончательное опредѣленіе личности даетъ воля и собственное сознаніе. Отсюда прямой выводъ— человѣкъ твердой воли подчиняетъ обстоятельства себѣ, люди съ опредѣленнымъ міросозерцаніемъ дѣлаютъ исторію. Самое-то слово „исторія“ есть фикція:

„Реальны въ исторіи лишь личности, лишь онѣ желаютъ, стремятся, обдумываютъ, дѣйствуютъ, совершаютъ исторію“.

Затѣмъ:

„Историческія событія *сами собою* не происходятъ. Что-бы ни писали о духѣ времени, о неизбѣжномъ теченіи событій, увлекающемъ личностей, но, въ концѣ концовъ, все-таки, дѣлаютъ исторію *личности*, духъ времени составляется изъ настроенія мысли *личностей*; потокъ событій, увлекающій однѣхъ, образуется другими опять таки *личностями*“.

Но, конечно, не всякая „личность“ дѣлаетъ исторію. Если считать сущностью историческаго процесса прогрессъ, то этотъ прогрессъ создается „*критически-мыслящей личностью*“ по слѣдующей схемѣ: та или другая идея „зарождается въ мозгу личности, тамъ развивается, потомъ переходитъ изъ этого мозга въ мозги другихъ личностей, разро-стается качественно въ увеличеніи умственнаго и нравственнаго достоинства этихъ личностей, количественно въ увеличеніи ихъ числа и становится общественной силою, когда эти личности сознаютъ свое единомысліе *и рѣшаются на единодушное дѣйствіе*“.

Въ общемъ,

„Прогрессъ человѣчества лежитъ исключительно на кри-

тически-мыслящихъ личностяхъ: безъ нихъ онъ безусловно невозможенъ“.

Итакъ, вся тяжесть исторіи и вся отвѣтственность за достиженіе прогресса взыскана на плечи отдѣльной личности.

Вѣрна-ли теорія Лаврова, или невѣрна—сейчасъ нѣтъ никакой надобности въ этомъ разбираться. Во многомъ, конечно, вѣрна, во многомъ, конечно, и не вѣрна. По существу предъ нами тутъ одно изъ развѣтвленій вѣковѣчнаго спора о свободѣ воли. Но вотъ что совершенно безспорно: своимъ ученіемъ о „критически-мыслящей личности“ Лавровъ всего на всего создалъ-бы одну изъ многочисленныхъ исторіософическихъ теорій, еслибы его ученіе не совпало съ тою жаждою самопожертвованія, которая составляетъ основу психики семидесятыхъ годовъ. За доказательствами ходить не очень далеко—достаточно мысленно перенестись лѣтъ на 15-20 впередъ. Въ 80-хъ годахъ не только такія несомнѣнно критически-мыслящія личности, какъ Толстой и Владиміръ Соловьевъ, усомнятся въ томъ, что прогрессъ такая уже святая вещь, но—самое главное—всякій послушаетъ, послушаетъ, да и скажетъ: очень, очень интересно, какъ будто бы очень вѣрно, да мнѣ-то до всего какое дѣло? Пусть тѣ, которымъ жизнь надоѣла „рѣшаются на единодушное дѣйствіе“, а мнѣ, ласковому и послушному, и такъ хорошо.

Но въ томъ-то и дѣло, что „критически-мыслящая личность“ семидесятыхъ годовъ не была книжною выдумкою кабинетнаго ученаго. Ученіе Лаврова только формулировало то, что созрѣло само какъ настроеніе. „Критически-мыслящая личность“ 70-хъ годовъ не столько умомъ, сколько необыкновенно-чуткою совѣстью восприняла ученіе Лаврова и прониклась сознаніемъ, что ничто не дѣлается помимо активнаго участія каждаго изъ насъ, и что—какихъ-бы это *личныхъ жертвъ не потребовало*—каждый долженъ посвятить себя дѣлу народнаго счастья, какъ основной цѣли прогресса.

Идеи Лаврова о роли „критически-мыслящей личности“ въ ходѣ всемірно-историческаго процесса нашли блестящаго выразителя въ лицѣ Михайловскаго, одного изъ главныхъ представителей, такъ называемой „русской школы“ соціо-

логии и „субъективного метода“ разработки социологических вопросов. Впоследствии Михайловский подвергся очень сильным нападкам за „ненаучность“ такого метода. Говорили, какой-же это научный методъ, коли онъ „субъективный“? Допустимъ, хотя безъ субъективности нѣтъ ни единой дисциплины въ сферѣ нравственно-политическихъ наукъ и хотя нынче даже въ математикѣ доанализировались до установленія ряда понятій, принимаемыхъ лишь на вѣру. Можно считать психологическою аксіомою, что логика и „наука“ убѣждаютъ и оказываютъ вліяніе только тогда, когда люди *желаютъ* убѣдиться. Но не о „научности“ сейчасъ рѣчь, и не въ „научности“ лежалъ центръ тяжести значенія Михайловскаго, также какъ и ученія Лаврова, этого человѣка колоссальнѣйшей научно-философской эрудиціи. Михайловскій всю свою жизнь былъ передовымъ бойцомъ, всю жизнь стоялъ, по прекрасному опредѣленію изданнаго въ его честь юбилейнаго сборника, „на славномъ посту“, и интересовали его не столько стройность и логическое совершенство, сколько благотворное воздѣйствіе на читателя. Вотъ почему чисто-научные доводы противъ „субъективного метода“ не колеблютъ значенія, которое въ свое время имѣли социологическія работы Михайловскаго, какъ явленіе публицистическое. Всѣмъ, говорящимъ о „субъективномъ методѣ“, не принимая при этомъ во вниманіе момента возникновенія его, слѣдуетъ твердо помнить, что весь-то „субъективный методъ“ былъ по преимуществу *псевдонимомъ*. Требовалось наукообразное обоснованіе того самоотверженнаго порыва къ переустройству общества, которое овладѣло новымъ поколѣніемъ, и его-то, наряду съ ученіемъ Лаврова, и давала социологія Михайловскаго. И вотъ почему страстный интерес Михайловскаго къ индивидуальности, къ роли личности, къ воздѣйствію „героя“ на „толпу“, его протестъ противъ органической теоріи Спенсера, низводившей роль отдѣльнаго индивидуума до положенія ничтожнаго винтика въ громадномъ механизмѣ общественнаго организма, находилъ такой горячій откликъ. Стремленіе Михайловскаго показать, что въ исторической жизни идеаль, эта важнѣйшая часть личности, *элементъ желательнаго*, имѣетъ огромное значеніе, создавало въ читателяхъ настроеніе, страстно вра-

ждебное историческому фатализму. Рождалась нравственная обязанность каждому человѣку опредѣлить свое отношеніе къ задачамъ общественной жизни и противопоставить свою твердую волю непреоборимой на первый взглядъ силѣ окружающей среды. Ученіе о первенствующей роли личности давало бодрость начинать борьбу *немедленно*, сдѣлать что-нибудь рѣшительное, что-нибудь такое, что хоть сколько-нибудь двинуло-бы впередъ родину.

„Критически-мыслящая личность“ всецѣло посвящаетъ себя дѣлу народнаго счастья.

§ 41. Энтузіазмъ народничества семидесятыхъ годовъ.

„Народное“ счастье было понято въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Благо именно сѣраго мужика становится центромъ думъ и размышлений.

Никогда еще русское общество не присутствовало при такомъ взрывѣ беззавѣтной готовности отдать себя угнетеннымъ и оскорбленнымъ. Народолюбіе семидесятыхъ годовъ полюбило отвлеченное понятіе „народъ“ съ такимъ конкретнымъ пыломъ, съ такимъ душевнымъ жаромъ, что едва-ли юноша, въ первый разъ полюбившій прекрасную дѣвушку, могъ-бы больше волноваться, больше страдать, больше горѣть страстнымъ желаніемъ отдать всего себя, всю свою жизнь для счастья дорогого существа.

Этотъ характеръ новаго народолюбія, эта горячка первой любви неизбежно носили въ себѣ зерно будущаго разочарованія. Разгоряченная фантазія рисовала умственную и нравственную фізіономію народа въ грандіозныхъ очертаніяхъ чего-то непостижимо-хорошаго, чего-то невыразимо-прекраснаго. Народъ представлялся какимъ-то безбрежнымъ, безконечнымъ океаномъ, по которому ходятъ гигантскіе валы, въ которомъ есть страшно-сильныя теченія, который иной разъ затихаетъ передъ бурей, но только затѣмъ, чтобы потомъ разыгратъ во всей могучей красотѣ, во всей сокрушающей силѣ. И думалось разгоряченному уму, и вѣрилось влюбленному сердцу, что стоитъ только окунуться въ этотъ океанъ, чтобы совершенно съ нимъ сродниться. Еще крѣпче была надежда, что, разъ окунувшись въ него, разъ срод-

нившись съ нимъ, легко будетъ направлять его валы туда, куда имъ слѣдуетъ направляться...

Смѣшно было-бы назвать подобнаго рода отношеніе *миросозерцаніемъ*. Предъ нами религія въ полномъ смыслѣ слова. Воодушевленіе перваго періода „хожденія въ народъ“ запечатлѣно всею яркостью религіознаго экстаза. Мы, люди 70-хъ годовъ, еще живо помнимъ эту прямую жажду мученичества. Въ подтвержденіе хочу привести на правахъ историческаго свидѣтельства цитату изъ одной моей статьи, написанной въ самомъ концѣ 1880 года. Приведу ее цѣликомъ, со всѣми ея, можетъ быть, и преувеличеніями, въ которыхъ зато сказалось настроеніе момента.

Вотъ что писалъ я тогда ¹⁾, полный благоговѣнія предъ тѣмъ подъемомъ самоотверженнаго идеализма, трагическая судьба котораго развертывалась предъ нашими глазами:

„Мы, современники послѣдняго фазиса русской жизни, сами еще не въ состояніи представить себѣ всю необычайность его, и когда пройдетъ много, много лѣтъ, иные моменты, иные факты, имѣвшіе мѣсто въ послѣдніе годы, покажутся намъ-же самимъ легендарными. Дѣло въ томъ, что можно положительно утверждать, что ни одна эпоха русской исторіи не видѣла такого грандіознаго проявленія идеализма, какъ именно послѣднія 10 лѣтъ. Мы говоримъ, конечно, объ эпохахъ въ жизни русской интеллигенціи. Народъ уже переживалъ такія эпохи фанатическаго идеализма, стоитъ только вспомнить эпоху первыхъ гоненій за „старую вѣру“. Но такъ называемое „общество“ русское еще впервые переживало такой жгучій фазисъ. Для самыхъ отдаленныхъ мечтаній приносились самыя реальныя жертвы, и твердая рѣшимость дѣйствительно положить душу свою за благо ближняго становится почти массовымъ свойствомъ.

Ни съ чѣмъ инымъ не можемъ мы сравнить эту знаменательную эпоху русской жизни, какъ съ эпохой возникно-

¹⁾ Статья «Достоевскій и его популярность въ послѣдніе годы» въ изданномъ въ пользу студентовъ Сиб. университета сборникѣ «Откликъ» (Спб. 1881). Я въ то время много занимался народными движеніями славянскаго племени и бралъ сравненія изъ исторіи этихъ движеній.

Не шевелятся ни губы, ни блѣдныя
Руки на блѣдной груди,
Слабо прижатая къ сердцу безъ трепета
И безъ надеждъ впереди...

Именно, безъ надеждъ впереди. Надежда на побѣду, чѣмъ существенно отличается движеніе 70-хъ годовъ отъ позднѣйшихъ, быстро отлетѣла. Какъ будетъ еще указано дальше, было совершенно опредѣленное сознание вѣрной гибели. Но непреодолима была жажда сдѣлать что-нибудь немедленно.

Еще ярче схвачена эта черта роковой обреченности въ Тургеневскомъ „Порогѣ“. Предостерегающій голосъ указываетъ молодой, прекрасной дѣвушкѣ, стоящей у „порога“ настежь открытой двери какого-то страшнаго зданія, за дверью котораго „угрюмая мгла“, что ее ждетъ „холодъ, голодъ, ненависть, насмѣшки, презрѣніе, обиды, тюрьма, болѣзнь, самая смерть“. Но обреченная „готова перенести всѣ страданія, всѣ удары“. Ей не нужны „ни благодарности, ни сожалѣнія“, ей „не нужно имени“ даже (вспомнимъ „безымянную Русь“ въ Тургеневской-же „Нови“),

— „Готова ли ты... на преступленіе?“

Дѣвушка потупила голову.

— И на преступленіе готова.

Голосъ не тотчасъ возобновилъ свои вопросы.

Знаешь-ли ты,—заговорилъ онъ, наконецъ,—что ты можешь разувѣриться въ томъ, чему вѣришь теперь, можешь понять, что обманулась и даромъ погубила свою молодую жизнь?“

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти“.

„Войди!“

Дѣвушка перешагнула порогъ—и тяжелая завѣса упала за нею.

— „Дура!“—проскрежеталъ кто-то сзади.

— „Святая!“—пронеслось откуда-то въ отвѣтъ.

Этотъ отвѣтъ даетъ, конечно, самъ авторъ, миролюбивѣйшій „постепеновецъ“. Чутьемъ художника онъ сумѣлъ отдѣлать форму отъ сущности, порывъ отъ той историче-

ской необходимости, въ которую отливаются реальныя формы борьбы за правду.

Невелико „стихотвореніе“ Тургенева, но, безспорно, оно, принадлежит къ числу лучшихъ вещей его по той необыкновенной рельефности и яркости, съ которою на пространствахъ какихъ-нибудь 30-ти строкъ очерчено цѣлое движеніе огромной исторической важности. Здѣсь гениально схвачена и выражена основная черта движенія—тотъ вполне религиозный экстазъ, съ которымъ люди добровольно, въ самый свѣтлый періодъ жизни оттолкнули отъ себя чашу жизненныхъ наслажденій, чтобы пойти по пути величайшихъ страданій, лишеній и отказа отъ всего, что дорого и близко. Героиня „Порога“ стоитъ въ центрѣ того апогея русской женщины, которымъ является галлерей женскихъ типовъ Тургенева. Порывъ русской женщины къ свѣту, воплощенный Тургеньевымъ въ обаятельныхъ образахъ Натальи, Аси, Елены, Маріанны, представленъ здѣсь въ наиболѣе лучезарномъ своемъ проявленіи.

§ 42. Мужичья беллетристика. Литературное схимничество Глѣба Успенскаго.

Могло-ли подобное настроеніе всецѣло выразиться въ искусствѣ, могъ-ли такой историческій моментъ, всего менѣе теоретическаго свойства, сколько-нибудь полно воплотиться въ литературѣ, которая сосредоточиваетъ въ себѣ духовную мощь страны только въ эпохи подготовительныя? Лучшія душевныя силы работали въ другомъ направленіи. *Inter arma silent leges*—говорили римляне, во время войны молчать, прекращаютъ свое дѣйствіе законы, т. е. обычныя нормы. Но съ такимъ же правомъ можно сказать и *inter arma silent musae*. Вѣдь вотъ французская революція ничего не дала искусству, кромѣ марсельезы. Не туда, значитъ, уходилъ гений времени.

Полоса хожденія въ народъ и героическая психологія поколѣнія 70-хъ годовъ тоже не отразилась въ литературѣ соотвѣтственно силѣ нравственнаго напряженія эпохи. Литература сильна, когда дѣло ограничивается словами, когда задача времени сводится къ тому, чтобы выразительно, красиво, сильно *сказать*. Но когда слова замѣняются дѣлами,

когда романтика переходит въ жизнь, когда реальная жизнь болѣе интересна, болѣе захватываетъ, чѣмъ литературная выдумка,—роль слова неизбежно блѣднѣетъ.

Не отразила и народническая литература 70-хъ годовъ всей силы момента. Чего-нибудь вполне соответствующаго нравственному подъему эпохи, литература 70-хъ годовъ не дала. Такъ, несмотря на то, что „мужицкая беллетристика“ совершенно зополонила страницы журнала, она выдвинула только одно большое дарованіе—Глѣба Успенскаго. У остальныхъ писателей изъ народной жизни—Златовратскаго, Каронина, Наумова, Засодимскаго, Нефедова и др. добрыя намѣренія преобладали надъ исполненіемъ.

Эти добрыя намѣренія въ своей совокупности, создали, однако, одно въ высокой степени характерное для русской литературы явленіе. Такое явленіе, какого не было въ литературѣ западно-европейской и которое какъ нельзя ярче иллюстрируетъ общій тезисъ настоящей книжки—о героическомъ характерѣ русской литературы.

Я говорю о томъ, что въ 70-хъ годахъ съ притворной грубостью называлось „мужицкою беллетристикою“, а связанное съ предыдущею эпохою должно, вообще, быть названо русскою народническою беллетристикою, она-же одинъ изъ видовъ искупленія грѣховъ „командующихъ“ классовъ.

Западные литературы, какъ я сейчасъ отмѣтилъ, ничего подобнаго не знаютъ. Есть, конечно, и въ западныхъ литературахъ высокоталантливыя произведенія, имѣющія предметомъ изображеніе народной жизни. Но это совсѣмъ, совсѣмъ не то. И „Dorfgeschichten“ Ауэрбаха, и „Petite Fadette“ Жоржъ-Зандъ, и многочисленныя позднѣйшія нѣмецкія повѣсти изъ деревенскаго „Stilleben“, и изображенія народной жизни у Зола и другихъ французскихъ писателей реальной школы, все это либо принадлежитъ къ той области искусства, которая въ живописи уже нѣсколько сотъ лѣтъ получила широкія права гражданства подъ именемъ „жанра“, либо относится къ области безпощаднаго обличенія. Западный беллетристъ изъ народной жизни, если подходитъ къ своему сюжету благодушно, то, за крайне-рѣдкими исключеніями, за предѣлы жанра не переступаетъ. Это значитъ, что его никогда не покидаетъ покровительственная улыбка аристократа,

который настолько прекраснодушенъ, что его можетъ интересовать жизнь людей несравненно болѣе низкаго соціального уровня, нежели онъ. Всегда онъ чувствуетъ себя неизмѣримо выше и, что самое главное, нѣтъ между нимъ и предметомъ изображенія связи живой, душевной. „Объективно“ изображаетъ онъ то, что находитъ характернымъ, считая свою работу чисто-художественнымъ предпріятіемъ и не тревожа при этомъ своего нравственнаго міра. А въ тѣхъ случаяхъ, когда западный бытописатель народной жизни недружелюбно относится къ изображаемой средѣ, онъ даже вполне справедливо вмѣняетъ себѣ свою вражду въ заслугу. Вѣрные дѣйствительности крестьяне Зола—какіе-то полускоты и даже смѣшно-бы было, если бы авторъ чувствовалъ какую-нибудь нѣжность къ этимъ разжирѣвшимъ, болѣзненно-жаднымъ, отвратительно-скупымъ мелкимъ буржуа, въ которыхъ приобрѣтательство истребило всякіе проблески чего-нибудь высшаго.

Богини
смысл и на
ишъ тѣмъ
къ дѣл.

Но русская литература съ тѣхъ поръ, какъ сколько-нибудь серьезно занялась художественнымъ изображеніемъ народной жизни, т. е. съ 40-хъ годовъ, отбросила всякое поползновеніе на „жанръ“ и уже тѣмъ наче на обличеніе. Никому изъ русскихъ бытописателей народной жизни не приходило ни на одну минуту охоты покровительственно улыбаться. Слишкомъ уже серьезное дѣло говорить въ мужицкомъ государствѣ о мужикѣ, который, по слегка измѣненной формулѣ Сіэса, долженъ представлять собою *все*, а на самомъ дѣлѣ изображаетъ собою *ничего*. И потому-то западные народники-жанристы просто себѣ живописуютъ, а русскіе писатели-народники священнодѣйствуютъ.

На протяженіи сорокалѣтія 1840—1880 три литературныхъ поколѣнія разрабатывали „народный вопросъ“. И чѣмъ дальше, тѣмъ страстность отношенія становилась жгучѣе. И если на западѣ литература, посвященная „народу“ въ непосредственномъ смыслѣ этого слова, есть нѣчто такое, что возникаетъ „между прочимъ“, какъ часть фольклора, какъ колоритная этнографія, то у насъ въ 70-хъ годахъ она прямо была поставлена во главу угла. „Народная литература“ почти утратила характеръ художественнаго явленія и превратилась въ одно изъ наиболѣе горячихъ проявленій

стремленія загладить предъ народомъ многовѣковую вину. Отсюда серьезность, жгучесть и страстность русской народнической литературы семидесятыхъ годовъ. И если захотѣть охарактеризовать общій характеръ ея, то, безъ всякаго преувеличенія, можно сказать, что она была покаяннымъ рыданіемъ лучшихъ элементовъ русскаго общества.

При такого рода отношеніи неизбѣжно должно было создаться идеализированіе народа. Когда любишь—преувеличиваешь достоинства, когда сострадаешь чѣмъ-нибудь страданіямъ—и того паче, когда считаешь себя отчасти источникомъ этихъ страданій—гонишь отъ себя мысль о томъ, что можетъ быть и страждущій не безъ вины.

Въ 70-хъ годахъ писатели-наблюдатели народной жизни имѣли глаза по преимуществу только для тѣхъ темныхъ силъ, которыя гнетутъ мужика, для тѣхъ скверныхъ условий, въ которыя поставленъ народъ помимо его воли, для того горя, которое ему причинили люди въ томъ заинтересованные. Въ произведеніяхъ Златовратскаго безхитростный, сѣренькій мужичекъ, сплошь да рядомъ превращается въ какого-то эпическаго Микулу Селяниновича, который подчасъ даже говоритъ былиннымъ складомъ и чѣмъ-то въ родѣ бѣлыхъ стиховъ. Въ такихъ-же эпическихъ очертаніяхъ рисовалъ сибирскіе народные типы Наумовъ. Деревенскихъ Лассалей изображалъ Засодимскій.

Совершенно неповиненъ, однако, въ идеализаціи крупнѣйшій изъ писателей-народниковъ и вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ изъ крупнѣйшихъ русскихъ писателей вообще, все еще недостаточно оцѣненный Глѣбъ Успенскій. Онъ не только не идеализировалъ народъ, а сплошь да рядомъ даже сгущалъ краски суровой правды своей. Но если говорить о народничествѣ какъ о характеристикѣ героической психологіи 70-хъ годовъ, какъ о святой святыхъ душевной жизни поколѣнія, пошедшаго въ народъ, то въ Глѣбѣ Успенскомъ это чисто-религіозное отношеніе къ народному благу сказалось необыкновенною яркостью и прямою трагичностью. Самый крупный художественный талантъ не только 70-хъ, но и 60-хъ годовъ, Глѣбъ Успенскій, какъ писатель, можно прямо сказать, палъ жертвою того горячечнаго интереса къ вопросу о народномъ благѣ, которымъ ознаменованы семи-

десятые годы. Онъ не могъ не сознавать, что странная смѣсь беллетристики, публицистики и даже статистики, какую представляли его очерки народной жизни, безусловно вредить цѣльности его художественной дѣятельности. Это переплетеніе явно мѣшало органическому развитію блестящихъ элементовъ таланта Успенскаго, его удивительнаго юмора, удивительной колоритности, замѣчательной наблюдательности и способности къ тончайшей нюансировкѣ. Но онъ весь былъ охваченъ страшною потребностью сейчасъ-же, сію минуту высказаться, не дожидаясь того, что впечатлѣнія его отольются въ художественно-законченную форму. Въ немъ писатель отходилъ совершенно на второй планъ, а на первый выступалъ гражданинъ, человѣкъ волновавшійся о народномъ счастьѣ съ болѣзненною возбужденностью. Если бываютъ на свѣтѣ выстраданныя литературныя произведенія, то это именно писанія Глѣба Успенскаго.

И вотъ почему сочиненія Успенскаго, по силѣ сконцентрированности всѣхъ помысловъ на вопросѣ о благѣ народномъ, навсегда останутся однимъ изъ самыхъ значительныхъ и самыхъ благородныхъ выраженій одной изъ самыхъ благородныхъ эпохъ русской интеллигенціи. Успенскій — это литературный схимникъ, добровольно отвергшій всѣ соблазны столь доступныхъ его блестящему таланту беллетристическихъ успѣховъ, чтобы всецѣло отдаться молитвѣ о народномъ счастьѣ.

§. 43. Гаршинскій „Красный Цвѣтокъ“, какъ символъ стремленій 70-хъ годовъ уничтожить зло міра. Настроенія другихъ представителей литературнаго поколѣнія 70-хъ годовъ.

Внѣ сферы изображенія народной жизни, въ тѣснѣйшей связи съ героическимъ духомъ времени находится трагизмъ одного изъ самыхъ блестящихъ представителей литературнаго поколѣнія 70-хъ годовъ — Всеволода Гаршина.

Въ его щемяще-меланхолическомъ творчествѣ ярко сказалась другая черта времени — тотъ душевный разладъ, который, наряду съ самопожертвованіемъ, тоже составляетъ характерную особенность поколѣнія 70-хъ годовъ и отличаетъ его отъ прямолинейнаго поколѣнія 60-хъ годовъ.

Разладъ этотъ былъ вызванъ двумя причинами.

Одна изъ нихъ та, что, при всей глубинѣ всепроникающей потребности борьбы со зломъ, въ поколѣніи 70-хъ годовъ всего менѣе было увѣренности, что борьба приведетъ къ чему-нибудь. Порывъ къ самопожертвованію былъ такъ великъ, что даже ясное сознаніе того, что только девятый валъ сокрушитъ твердыню зла, никого не удерживало отъ дать себя безнадежному второму или третьему валу.

Но жизнерадостнаго настроенія такое героическое самопожертвованіе безъ надежды на успѣхъ, естественно, создать не могло.

А съ другой стороны и самая борьба, съ тѣми ея особенностями, которыя присущи всякой борьбѣ, часто противорѣчила глубокому чувству любви, составляющему основу всякаго порыва самопожертвованія.

Въ Гаршинѣ этотъ разладъ и сомнѣнія въ побѣдѣ были особенно трагичны, въ силу того, что высокая гуманность составляла самую основу его психологическаго склада. Если онъ самъ пошелъ на войну, то исключительно потому, что ему казалось постыднымъ не принять участія въ освобожденіи братьевъ, изнывающихъ подъ турецкимъ игомъ. Но для него достаточно было перваго же знакомства съ дѣйствительной обстановкой войны, чтобы понять весь ужасъ истребленія человѣкомъ человѣка. Когда онъ вернулся съ войны внѣшней, Гаршинъ засталъ разгаръ войны внутренней. Принять въ ней участіе онъ не могъ, но драматизмъ положенія захватилъ его съ силою всепроникающею. Была глубокая потребность дѣятельной борьбы; но не было увѣренности въ томъ, что она ведется правильно и не было сочувствія путямъ насилія, по которымъ направилось движеніе въ концѣ 70-хъ годовъ. Въ личной жизни Гаршинъ беспомощно метался и изнывалъ отъ сознанія, что остается простымъ зрителемъ. И когда его въ 1879 г. постигало безуміе, оно проявлялось въ формахъ, хотя и болѣзненныхъ, но проникнутыхъ опредѣленной мыслью. „Ненормально“ было по обычнымъ мѣркамъ то, что онъ ночью отправился къ только что назначенному диктаторомъ Лорисъ-Меликову и добился свиданія съ нимъ; но цѣлью свиданія была просьба о помилованіи покушавшагося на Лорисъ-Меликова террориста.

Много другихъ странныхъ поступковъ совершилъ Гаршинъ въ сумеркахъ потухающаго сознанія, но всѣ они, въ большей или меньшей степени, были проявленіемъ экзальтаціи на почвѣ стремленія что-нибудь сдѣлать, такъ или иначе активно вмѣшаться въ развертывавшуюся предъ его возбужденною мыслью трагедію.

Литературная дѣятельность Гаршина была непосредственнымъ выраженіемъ душевнаго раздвоенія его. На этомъ фонѣ созданъ одинъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ рассказовъ его—„Художники“. Какъ характеренъ рассказъ и для своей эпохи, и для всей новѣйшей русской литературы, которая гражданина всегда цѣнитъ больше писателя. Европейскій художникъ несокрушимо увѣренъ, что разъ онъ художникъ—его жизненная задача опредѣлена вполнѣ категорично. А вотъ Гаршинъ, самъ изящнѣйшій художникъ слова и тонкій цѣнитель искусства, устами художника Рябинина, и притомъ художника высоко-даровитаго, говоритъ, что нравственно-чуткій человѣкъ не можетъ спокойно предаваться восторгу творчества, когда кругомъ такъ много страданій. Рябининъ бросаетъ искусство, давшее столько утѣхъ молодому честолюбію и идетъ въ народные учителя. Однако, онъ тутъ „не преуспѣлъ“. И это, очевидно, не только изъ-за того, что на эзоповскомъ языкѣ 70-хъ гг. называлось „независящими обстоятельствами“, а потому что, какъ и въ тургеневскомъ Неждановѣ, не было въ немъ самомъ достаточно увѣренности, что идетъ онъ надлежащимъ путемъ. Но тѣмъ героичнѣе, конечно, самый актъ его само-закланія.

Всего поэтичнѣе гаршинская жажда побороть неправду міра сказала въ удивительно-гармоничной позднѣйшей сказкѣ „Красный Цвѣтокъ“, сказкѣ наполовину автобіографической, въ которую вошли эпизоды того періода, когда Гаршинъ, въ приступахъ безумія, мечталъ уничтожить все зло, существующее на землѣ. Въ общемъ, сказка не столько психіатрическая, сколько психологическая. „Красный Цвѣтокъ“ въ одно и то-же время и произведеніе глубоко-реальное, и глубоко-символическое, въ одно и то-же время и „выдумка“, и горькая историческая и автобіографическая правда. Красный цвѣтокъ, получившій въ больномъ мозгу героя раз-

сказа такое необычайное значеніе, символизируетъ собою міросозерцаніе всего поколѣнія, къ которому этотъ герой принадлежалъ. Безуміе его заключалось только въ томъ, что онъ представлялъ себѣ такъ удобоисполнимой побѣду надъ зломъ. Но въ самомъ порывѣ, въ страстномъ стремленіи сорвать все зло міра безумный представитель поколѣнія семидесятыхъ годовъ ярко отразилъ собою завѣтныя думы всѣхъ своихъ сверстниковъ.

Одновременно съ Гаршинымъ обратилъ на себя вниманіе изъ представителей литературнаго поколѣнія 70-хъ годовъ Минскій. Позднѣе этотъ черезчуръ впечатлительный и поддающийся всякой новой модѣ поэтъ сталъ однимъ изъ зачинателей декадентства, періода его демонстративнаго презрѣнія къ гражданственности. Но въ молодости онъ весь былъ гражданственностью пропитанъ, и поэзія его была отзвукомъ на боевое, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-скорбное и безнадежное настроеніе эпохи. Были, правда, у него и бодрія ноты. Такъ, въ извѣстномъ въ свое время стихотвореніи „Предъ зарею“, молодой поэтъ какъ будто не сомнѣвается въ побѣдѣ: „Не тревожься, недремлющій другъ, если стало темнѣе вокругъ, если гаснетъ звѣзда за звѣздою, если скрылась луна въ облакахъ и клубятся туманы въ дугахъ: это стало темнѣй—предъ зарею...“

Но, въ общемъ, онъ полонъ тоски и сомнѣнія въ успѣхѣ великодушнаго порыва своего поколѣнія:

Всталъ онъ бодрый и пошелъ,
Движимъ помысломъ высокимъ,
Къ новой жизни разбудить
Братьевъ, спавшихъ сномъ глубокимъ.
Видишь холмъ? Здѣсь погребли
Вопіявшаго въ пустынь.
Кто другихъ будилъ, уснулъ,
Кто же спалъ, тотъ спитъ донинѣ.

Главное произведеніе перваго періода дѣятельности Минскаго—поэма „Бѣлыя ночи“ (1879), какъ и у Гаршина, всецѣло посвящено трагическому разладу между ясно и страстно сознанныю обязанностью бороться за счастье народа и нежеланіемъ прибѣгать къ тѣмъ средствамъ, безъ которыхъ немь-

слима какая-бы то ни было борьба, да еще въ условіяхъ русской дѣйствительности.

Неудовлетворенность Гаршинскаго Рябинина, настроеніе „Бѣлыхъ ночей“ Минскаго и рядъ другихъ произведеній 70-хъ годовъ характеризуетъ и творчество теперь полузабытаго Осиповича-Новодворскаго, автора замѣчательнаго очерка „Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны“. Уже одно заглавіе характерно. Герой очерка мечется по унылой пустынѣ русской дѣйствительности, неспособный ни къ тому, чтобы примириться со старымъ, ни къ тому, чтобы отстоять новое.

Творчество даровитаго, хотя и не развернувашаго всѣхъ задатки своего крупнаго таланта Альбова, въ общемъ, чуждо обществу. Но и онъ, въ 70-хъ годахъ, создалъ знаменательный типъ Глазкова — человѣка, жаждущаго „блаженства поклониться себѣ“. Какъ и герой Гаршинскаго „Краснаго Цвѣтка“, Глазковъ типъ психиатрической, а не психологической, и „блаженство поклониться себѣ“ заключается въ томъ, что онъ сознательно лишаетъ себя жизни. Но если принять во вниманіе, что по всему складу своему Глазковъ родной братъ Чулкатурина — „лишняго человѣка“ сороковыхъ годовъ, то эволюція общественнаго настроенія тутъ скажется весьма ощутительно. Въ психологіи Чулкатурина опредѣленно сказалась тихая, приниженная и безнадежная меланхолія конца дореформенной эпохи; въ психологіи его родича Глазкова столь-же опредѣленно чувствуется вѣяніе иной полосы русскихъ интеллигентскихъ настроеній, когда приниженность замѣнило полное презрѣніе къ окружающему. Было гордое стремленіе поставить себѣ единственнымъ закономъ свою собственную, римски-строгую совѣсть. Было сознательное игнорированіе реальной „дѣйствительности“ и твердая рѣшимость соображаться только съ тѣмъ, что поставило-бы человѣка высоко въ своихъ собственныхъ глазахъ. Въ этомъ, несомнѣнно, и заключается то „поклоненіе самому себѣ“, о которомъ съ примѣсю всякаго сумасшедшаго бреда мечтаетъ Альбовскій Глазковъ. Такая мысль не вырабатывается въ одинокомъ мозгу больного человѣка, она можетъ быть только плодомъ коллективной работы, только отзвукомъ цѣлой полосы общественной жизни, обильной высокимъ идеализмомъ.

Выступившій на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ гг. Ясинскій, съ наступленіемъ реакціи 1880-хъ гг. перешель въ ряды обличителей движенія 70-хъ годовъ. Но въ первые годы своей литературной дѣятельности онъ талантливо и вѣрно отражалъ жизнь тѣхъ кружковъ, которые жили общественно-народными интересами. Много у него было тогда выведено типовъ самоотверженнаго стремленія всецѣло отдать себя дѣлу народнаго счастья, но всѣ эти герои только исполняютъ свой долгъ первыхъ валовъ освободительнаго движенія, безъ надежды самимъ дожить до побѣды. Отсюда ихъ душевная угнетенность, а у натуръ слабыхъ — компромиссъ и подчасъ даже измѣна убѣжденіямъ.

Не у всѣхъ, однакоже, писателей, выступившихъ въ 70-хъ годахъ, было такое подавленное настроеніе.

У Эртеля, напр., темпераментъ былъ слишкомъ сангвиничный, чтобы предаваться тоскѣ и унынію. Поэтому его общественно-политическая возбужденность выразилась частью въ идеализаціи народа, частью въ метаніи громовъ противъ всего, что отзывалось дряблостью, безсиліемъ и буржуазнымъ эгоизмомъ.

Другой „семидесятникъ“ — всегда нервно-возбужденный, жившій длинный рядъ лѣтъ въ мѣстахъ весьма отдаленныхъ, Мачтетъ всю свою дѣятельность (главнымъ образомъ въ 80-хъ годахъ), по собственному опредѣленію, посвятилъ тому, чтобы „будить настроеніе“. Въ его часто сбивающихся на мелодраму разказахъ тоже нѣтъ мѣста тоскѣ и унынію, и всѣ они представляютъ собою, въ художественномъ отношеніи, правда, мало цѣнный, но все же страстный призывъ къ подвигу.

Плодовитый, можно даже сказать черезчуръ плодовитый Потапенко обратилъ на себя вниманіе только въ 80-хъ годахъ. Но основныя настроенія свои онъ воспринялъ въ 70-хъ гг. и, пока имъ слѣдоваль, написалъ нѣсколько замѣчательныхъ по вложенному въ нихъ воодушевленію вещей.

Въ ряду ихъ слѣдуетъ отмѣтить разказъ „На дѣйствительной службѣ“. Здѣсь выведено лицо довольно необычное, молодой сельскій священникъ, понимающій свое назначеніе не какъ средство кормиться, и притомъ вкусно кормиться, а какъ путь настоящаго паствырства и просвѣщенія

темныхъ душъ деревенскаго люда. Русская беллетристика привыкла иначе изображать російскихъ батюшекъ. Но Потапенко вложилъ въ идеальную фигуру своего самоотверженнаго героя столько искренняго энтузіазма, что повесть производила впечатлѣніе вполне жизненное. Съ удивленіемъ смотритъ окружающее на образованнаго молодого попа, который пренебрегаетъ возможностью сдѣлать „блестящую карьеру“ и добровольно обрекаетъ себя на большія лишенія. Это показываетъ, что необычный священникъ не изъ обычнаго источника и духовный обликъ свой получилъ. Историкъ долженъ привести его въ связь съ настроеніями эпохи, и тогда онъ, конечно скажетъ, что предъ нами человекъ, который „пошелъ въ народъ“.

§ 43. Гуманизмъ Короленки.

Слѣдя за настроеніями литературнаго поколѣнія 70-хъ годовъ, я намѣренно устранялъ трехъ представителей его, наряду съ Гаршинымъ наиболѣе любимыхъ русскимъ читателемъ: Короленку, Надсона и Якубовича-Мельшина.

Выдѣлилъ я ихъ потому, что всецѣло вышедши изъ настроенія семидесятыхъ годовъ, и творчество Короленки, и недолгое догораніе поэзіи Надсона, и выстраданная въ буквальномъ смыслѣ слова поэзія Якубовича-Мельшина развивались, однако-же, въ атмосферѣ 80-хъ годовъ, и это существеннѣйшимъ образомъ отразилось на многихъ особенностяхъ ихъ дѣятельности.

Личная жизнь Короленки такъ сложилась, что ему совсѣмъ не приходилось переживать разлада, который такъ мучительно угнеталъ Гаршина. Гаршинъ, тотъ въ самый напряженный періодъ своего творчества, съ одной стороны, чувствовалъ нравственную обязанность активно участвовать въ движеніи, а съ другой—всякая борьба противорѣчила всему его существу, да и казалась совершенно безнадежной. Но Короленкѣ этой душевной драмы переживать не приходилось. Его въ это время все переправляли съ одного мѣста на другое, а когда онъ, въ началѣ 80-хъ годовъ, болѣе или менѣе прочно осѣлъ въ якутскихъ тундрахъ, то уже переживать какія-либо сомнѣнія относительно того, нужна или не нужна борьба, не приходилось: борьба кончи-

лась. Оттого укрѣпленное перенесенными лишеніями настроеніе Короленки вполне цѣльно и никакихъ колебаній не знаетъ. Въ немъ жажда „подвига жизни“ дѣятельная, бодрая, чуждая отчаянія. Вѣра въ будущее и въ живучесть своихъ идеаловъ лежитъ въ основѣ всего духовнаго существа Короленки, чуждаго развѣдающей рефлексіи и отнюдь не разочарованнаго. Это-то рѣзко и отличаетъ его отъ двухъ ближайшихъ сверстниковъ его по писательскому рангу, которое онъ занимаетъ въ исторіи новѣйшей русской литературы—Гаршина и Чехова. Въ первомъ изъ нихъ обиліе зла на землѣ убило вѣру въ возможность счастья, во второмъ сѣрость жизни посѣяла невыносимую скуку. Короленко, несмотря на множество личныхъ тяжелыхъ испытаній и всего скорѣе какъ разъ благодаря имъ и не отчаявается, и не скучаетъ. Для него жизнь таитъ множество высокихъ наслажденій, потому что въ побѣду добра онъ вѣритъ не изъ пошловатаго оптимизма, а въ силу страстной потребности помочь людямъ во чтобы то ни стало. Отсюда, между прочимъ, выдающаяся практическая дѣятельность Короленки, который, гдѣ только ни поселялся послѣ возвращенія въ Россію, вездѣ становился въ центрѣ активнѣйшей дѣятельности, направленной къ облегченію народныхъ нуждъ и бѣдствій. Эта практическая дѣятельность Короленки неотдѣлима отъ литературной дѣятельности его и образуетъ одно слитноецѣлое. Трудно сказать, чтò, напр., въ „Голодномъ годѣ“ или въ только что появившемся „Бытовомъ явленіи“ есть замѣчательное литературное явленіе и чтò крупнѣйшая общественная заслуга? Въ общемъ, высокое положеніе, которое занимаетъ въ современной литературѣ Короленко въ такой же степени результатъ прекраснаго, въ одно и тоже время и задушевнаго, и изящнаго художественнаго таланта его, какъ и результатъ того, что онъ рыцарь пера въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Случится-ли стихійное бѣдствіе, осудятъ-ли невинныхъ людей, учинятъ-ли погромъ, доведутъ-ли до кошмара, до превращенія въ „бытовое явленіе“ смертныя казни, Короленко уже не „можетъ молчать“, по выраженію великаго человѣколюбца земли русской, ему не боязно говорить объ „избитомъ сюжетѣ“. И искренность гуманизма Короленки такъ глубока и несомнѣнна, что за-

хватывает читателя совершенно независимо от принадлежности къ тому или другому политическому лагерю. Короленко не „партіецъ“, какъ принято теперь выражаться, онъ гуманистъ въ прямомъ и непосредственномъ смыслѣ слова. Творчество его насквозь проникнуто стремленіемъ въ каждомъ человѣкѣ доискаться лучшихъ сторонъ человѣческаго духа, подъ какой-бы толстой и съ перваго взгляда непроницаемой корой наносной житейской грязи онъ не скрывались. Удивительное умѣніе отыскать въ каждомъ человѣкѣ то, что въ pendant къ Гетевскому ewig Weibliche можно было-бы назвать ewig Menschliche — вотъ что составляетъ сущность духовнаго облика Короленки. Это подчасъ ведетъ Короленко къ романтическому прикрашиванію, но на протяженіи всей литературной дѣятельности его нѣтъ ни единой крикливой ноты. И потому такую величавую ясностью и такимъ высокимъ благородствомъ вѣетъ отъ хрустально-чистыхъ настроеній Короленки.

И словомъ, и дѣломъ Короленко осуществляетъ высокое представленіе, которое сложилось у русскаго читателя о русскомъ писателѣ. Извѣстно, что въ Россіи почти къ каждому писателю, и большому, и малому, какъ только онъ нѣсколько выдвинется, сейчасъ-же начинаютъ обращаться съ вопросомъ: „какъ жить?“. И русскій писатель неизбѣжно превращается въ учителя. Русскій писатель, по неискоренимому представленію русскаго читателя, рыцарь правды. Короленко, за исключеніемъ Толстого, рыцарь правды болѣе кого-бы то ни было изъ современныхъ писателей. И такъ какъ, послѣ смерти Толстого, Короленко теперь самое уважаемое литературное имя, то для основного тезиса настоящей книжки такъ важно отмѣтить, что высокочтимый писатель всею совокупностью своей дѣятельности зоветъ къ тому „подвигу жизни“, о которомъ говоритъ весь складъ литературы русской.

§ 44. Надсонъ съ завистью смотритъ на „вѣнецъ терновый“. Для Якубовича-Мельшина „спокойное счастье преступно“.

Мрачная реакція 80-хъ годовъ ни мало не повліяла на Короленко и лишь освободила его окрѣпшее въ испытаніяхъ настроеніе отъ всякой партійной узости. Но на творчество

Надсона, только что слагавшееся, она наложила опредѣленный отпечатокъ раздвоенности.

Разладъ, который таилъ въ своей скорбной душѣ Гаршинъ, составляетъ и сущность психологіи Надсона, съ тою еще разницею, что прочное торжество Побѣдоносцевщины дѣлало надежду на побѣду добра еще призрачнѣе. Надсонъ—олицетвореніе Гаршинскаго Рябинина. Подобно Рябинину, онъ восклицаетъ:

Но молчать, когда вокругъ звучать рыданья
И когда такъ жадно рвешься ихъ унять,
Подъ грозой борьбы и предъ лицомъ страданья...
Братъ, я не хочу, я не могу молчать.

Къ временамъ давно прошедшимъ относить онъ то, что когда-то поэзія была явленіемъ лучезарнымъ, что когда-то

Она несла съ собой невѣдомыя чувства,
Гармонію небесъ и преданность мечтѣ
И былъ законъ ея—искусство для искусства,
И былъ завѣтъ ея—служенье красотѣ.

Теперь-же растоптаны въ прахъ „роскошные цвѣты“ поэзіи, „и темнымъ облакомъ сомнѣній и печали покрылись дѣвственно-прекрасныя черты“.

Однако, отказавшись отъ поэзіи наслажденія и безмятежнаго созерцанія, Надсонъ, подобно тому-же Гаршинскому Рябинину, не нашелъ своего назначенія и въ борьбѣ со зломъ. „Гражданскій“ строй музыки Надсона является только долгомъ совѣсти, исполненіемъ того, что молодой поэтъ считалъ нравственною обязанностью каждаго любящаго родину человѣка. Рядомъ съ призывомъ къ борьбѣ, въ душѣ его идетъ и мучительный споръ съ сомнѣніемъ въ необходимости борьбы; рядомъ съ вѣрою въ конечное торжество добра, слагается горькій выводъ, что „въ борьбѣ и смутѣ мірозданья цѣль одна—покой небытія“, царитъ „мгла безнадежности въ измученной груди“, и крѣпнетъ сознаніе ничтожества усилій „предъ льющей вѣка страдальческою кровью, предъ вѣчнымъ зломъ людскимъ и вѣчною враждой“. Наконецъ, иной разъ, въ душѣ юнаго поэта, опьяненнаго первыми, всегда жгучими успѣхами, возникаетъ и коллизія

съ стремленіемъ къ личному счастью. И все это поглощается однимъ общимъ сознаниемъ и однимъ общимъ настроениемъ:

И посреди бойцовъ я не боець суровый,
А только стонущій, усталый инвалидъ,
Смотрящій съ завистью на ихъ вѣнецъ терновый.

Выдѣливъ особо Короленко и Надсона, мы тѣмъ болѣе должны выдѣлить Якубовича-Мельшина, который къ тому-же и фактически получилъ возможность вполне отдаться литературной дѣятельности только въ 1890-хъ годахъ. По первымъ впечатлѣніямъ рано созрѣвшаго сознанія принадлежа къ полосу 70-хъ годовъ, Якубовичъ тѣмъ и замѣчательнъ, что неугасимо пронесъ огонь молодыхъ стремленій сквозь бурю постигшихъ его личныхъ испытаній. И такъ же, какъ личныя испытанія избавили Короленко отъ разлада и колебаній, измучившихъ Гаршина, такъ еще гораздо болѣе тяжкія невзгоды, выпавшія на долю Якубовича, закалили его и не дали мѣста какимъ-бы то ни было сомнѣніямъ. Онъ пѣвецъ борьбы, онъ понимаетъ свою жизненную и поэтическую задачу только какъ отстаиваніе дорогихъ ему идеаловъ народнаго счастья. Онъ, не колеблясь, отвергаетъ мечты о личномъ благополучіи: *„спокойное счастье преступно и ложно*, когда всюду кругомъ безотраднотемно“, подвигъ зоветъ, и на „алтарь свободы“ боець несетъ „и жаръ души, еще не утомленной, и крѣпость мышцъ, и силу воли гордой, и правый гнѣвъ, и правую любовь“. Въ послѣдовавшей „битвѣ грозной, безжалостной, дикой“, боець физически побѣжденъ, но тутъ и сказывается возвышающая и закаляющая сила страданія—это ни мало не сломило его духа. Оплакивая судьбу своего „поколѣнія, проклятаго Богомъ“, Якубовичъ всего менѣе сталъ нытикомъ. Онъ — „недобитый боець“ и не сомнѣвается въ томъ, что въ будущемъ его идеалы восторжествуютъ. Какъ я уже много разъ подчеркивалъ, люди 70-хъ годовъ превосходно сознавали, что они дѣлаютъ только первые шаги и что до побѣды имъ и не дожить. Якубовичъ тоже это сознаетъ вполне опредѣленно: рѣшаетъ дѣло „валь девятый, валь послѣдній, роковой“, но для этого „нужны первыя усилья, нуженъ первый валь,

второй", и боець съ радостнымъ чувствомъ обрекаетъ себя участи первыхъ, бесплодныхъ валовъ. Ни на какіе компрониссы онъ не пойдетъ; „жизнь борьба, а не рабство“:

Бѣги, мечта любви, мечта о примиреньи,
Прочь, пѣсни рабскія унынья и тоски:
Я весь—огонь и мечъ, я весь—порывъ отмщенья
И гнѣва я пѣвецъ до гробовой доски.

И кто скажетъ, что это фраза въ устахъ человѣка, надъ которымъ тяготѣлъ смертный приговоръ?

§ 45. Чтеніе средней публики 70-хъ годовъ.

Я назвалъ главныя силы литературнаго поколѣнія семидесятыхъ годовъ. Такъ какъ я сейчасъ совсѣмъ не задаюсь цѣлью представить сколько-нибудь исчерпывающую характеристику эпохи, и мнѣ нужно только опредѣлить общую окраску ея, то я могу ограничиться простымъ упоминаніемъ нѣкоторыхъ другихъ писателей. Совершенно достаточно сказать, что ихъ дебюты связаны съ „Отеч. Зап.“ Некрасова, Салтыкова и Михайловскаго, чтобы опредѣлить, куда клонился общій смыслъ ихъ произведеній. Такъ, уже заглавіе блестяще-начавшаго свою литературную дѣятельность Кущевскаго—„Николай Негоревъ или благополучный россиянинъ“ показываетъ, какъ относился авторъ къ идеѣ личнаго благополучія. Символично и названіе романа „Огонекъ“, которымъ дебютировала въ „Отеч. Зап.“ талантливая Смирнова. Теперь эта дѣятельная сотрудница „Нов. Времени“ принадлежитъ къ числу озлобленнѣйшихъ противниковъ всего освободительнаго движенія. Но въ 70-хъ гг. она вся была преисполнена стремленій общественныхъ, и хотя эти стремленія были довольно наивны и не шли дальше обычныхъ тогда порывовъ къ разумной дѣятельности для женщины, но они были согрѣты увлеченіемъ молодости, и „Огонекъ“ ихъ пылкой общественности передавался читателю. Въ сторону общественности звала женщину изъ тѣснаго круга семейныхъ интересовъ и Ольга Шапиръ.

Еще опредѣленнѣе и громче звали къ общественности и, гдѣ нужно, къ общественному подвигу беллетристика эле-

ментарно-радикальнаго, а подчасъ и вульгарно-радикальнаго „Дѣла“: романы Оммулевскаго, Бажина, Станюковича и особенно Михайлова-Шеллера. О Шеллерѣ нужно сказать нѣсколько подробнѣе. Художественныя силы его не велики. Онъ лишенъ способности сколько-нибудь тонкой нюансировки, обработка сюжета у него самая схематическая и прямолинейная, при крайней тенденціозности неизбѣжно переходящая въ деревянность. Задавшись прославленіемъ „новыхъ людей“ и протестантовъ всякаго рода, Шеллеръ дѣлалъ изъ нихъ настоящее собраніе всевозможныхъ добродѣтелей и высокихъ качествъ. „Новый человѣкъ“ Шеллера и необыкновенно уменъ, и массу знаетъ, и находчивъ, и краснорѣчивъ, и физическою силою обладаетъ, и красивъ въ добавокъ, такъ что, конечно, безъ труда плѣняетъ сердца „рвущихся къ свѣту“ „новыхъ“ женщинъ. Несмотря на наивно-элементарную прогрессивность, а вѣрнѣе—именно вслѣдствіе элементарности этой всѣмъ доступной прогрессивности, Шеллеръ имѣлъ огромное и безусловно благотворное вліяніе на широкіе слои публики. Отчеты провинціальныхъ публичныхъ библіотекъ показываютъ, что неизмѣнно, въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, Шеллеръ усерднѣйшимъ образомъ читался, да и по сию пору читается молодежью. На первыхъ порахъ жажды осмыслить свое существованіе и для неприхотливаго художественнаго вкуса только что начинающаго серьезно относиться къ книгѣ читателя, романы Шеллера имѣютъ, такъ сказать, пропедевтическое значеніе. Своимъ оптимизмомъ, своею не допускающею сомнѣній вѣрою въ то, что стоитъ только захотѣть и жизнь каждаго устраивается вполнѣ „разумно“ и возвышенно, чтеніе Шеллера, несомнѣнно, воспитываетъ желаніе вырваться изъ пошлости среды, выйти на просторъ знанія и свободнаго человѣческаго существованія, а главное — отдать себя общественному подвигу.

И съ этой точки зрѣнія успѣхъ Шеллера, Оммулевскаго и другихъ однородныхъ беллетристовъ имѣетъ очень важное значеніе для характеристики героическихъ настроеній русской литературы. Именно то и важно, что предъ нами среднихъ достоинствъ чтеніе „средней“ публики.

Въ Германіи 70-хъ гг. „среднему“ читателю нужны были

романы Марлигъ и Вернеръ, съ ихъ апоѳеозомъ мѣщанскаго счастья, въ Англіи тоже немислимо было закончить романъ безъ счастливаго законнаго брака стыдливой любящей парочки, во Франціи немислимо было обойтись безъ адюльтера. Вотъ уже гдѣ вполне можно примѣнить слова Некрасова изъ призыва его къ „пути тернистому“:

О жизни искренней,
О цѣли высренней
Тамъ мысль смѣшна.

А симпатіями русскаго средняго читателя 70-хъ годовъ ни въ коемъ случаѣ нельзя было завладѣть изображеніемъ личныхъ радостей. Въ атмосферѣ, насыщенной порывами къ самопожертвованію и аскетическимъ отказомъ отъ благъ міра сего, настроеніе эпохи захватывало не только верхи интеллигенціи, но и низы ея, и мѣщанское счастье было прямо какимъ-то ругательнымъ словомъ.

§ 46. Великіе таланты предыдущихъ эпохъ и героическій подъемъ 70-хъ годовъ.

По обязанности историка я уже не одинъ разъ отмѣчалъ въ этой книжкѣ, что возбужденіе общественное далеко не всегда совпадаетъ съ расцвѣтомъ чисто-литературнымъ. Надѣюсь когда-нибудь вернуться къ этому весьма интересному сюжету болѣе обстоятельно, а пока ограничусь утвержденіемъ, что расцвѣтъ чисто-литературный совпадаетъ съ эпохами *подготовительными*, когда броженіе происходитъ исключительно въ сферѣ мысли, когда гений эпохи уходитъ въ слова. Когда наступаетъ эпоха *дѣла*, словесное искусство ослабѣваетъ.

Уже литература шестидесятыхъ годовъ была менѣе блестяща, потому что помыслы современниковъ только отчасти были направлены на литературу. Но тѣмъ болѣе, значитъ, должно было пострадать чисто-литературное творчество семидесятыхъ годовъ. И, дѣйствительно, чего-нибудь вполне соответствующаго нравственному подъему эпохи литература того времени не дала. Такъ, несмотря на то, что „мужичка-беллетристика“ совершенно заполонила страницы жур-

нала, она выдвинула только одно сильное дарованіе—Глѣба Успенскаго. У остальныхъ писателей изъ народной жизни—Златовратскаго, Наумова, Засодимскаго, Каронина и др.—добрыя намѣренія преобладали надъ исполненіемъ. Въ сферы мужицкой беллетристики настроенія эпохи отразили два. самихъ по себѣ, весьма замѣчательныхъ дарованія—Гаршинъ и Короленко. Но все же и эти лучшіе беллетристы поколѣнія не могутъ быть поставлены на одинъ уровень съ писателями поколѣнія сороковыхъ годовъ. Среди поэтовъ Минскій, Якубовичъ, Надсонъ имѣютъ свои серьезныя достоинства, но, опять-таки, не могутъ въ чисто-литературномъ отношеніи сравняться съ поэтами предыдущихъ эпохъ.

Итакъ, напряженно-общественная атмосфера и 60-хъ, и 70-хъ годовъ оказалась менѣе благопріятной почвой для народненія крупныхъ талантовъ, чѣмъ эпоха Николая, когда, благодаря полному отсутствію иныхъ путей для проявленія духа, всѣ силы русскаго національнаго генія ушли въ искусство.

Но если, какъ и 60-ые годы, 70-ые годы оказались неблагопріятными для *созданія* первостепенныхъ талантовъ, то они же оказались чрезвычайно благопріятными для *развитія* и окраски творчества талантовъ, унаслѣдованныхъ отъ эпохъ предыдущихъ. И это ни въ какомъ случаѣ не простая случайность, а явленіе, объясняемое вполне органически именно тою напряженностью общественнаго чувства и тою силою альтруистическаго подъема, который характеризуетъ 70-ые годы.

Это вліяніе я позволилъ бы себѣ сравнить съ однимъ явленіемъ физическимъ. Если раскаленное желѣзо опустить въ сосудъ съ кислородомъ, оно начинаетъ горѣть, издавая ослѣпительно-яркій свѣтъ. Такъ вотъ героическая атмосфера 70-хъ годовъ и была тѣмъ благороднымъ возбудителемъ свѣта и жара, который благотворнѣйшимъ образомъ подѣйствовалъ на слабѣющія силы ряда писателей 40-хъ годовъ. Три великихъ таланта литературы русскои—Щедринъ, Достоевскій и Толстой—прямо тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ великодушными настроеніями эпохи. А затѣмъ чувствуется эта связь очень замѣтно въ творествѣ Некрасова и не безслѣдно прошла эпоха для Тургенева.

Всего безспорнѣе эта связь съ небывало-высокимъ напряженіемъ гражданскаго чувства сказалась на творествѣ Щедрина. На порогѣ старости его талантъ становится все болѣе и болѣе могучимъ, доходя по временамъ до истинно-свифтовской силы. Чѣмъ круче становились времена, тѣмъ опредѣленнѣе становилось его міросозерцаніе и тѣмъ цѣльнѣе, значить, его творчество. Въ 60-хъ годахъ Писаревъ немножко рѣзко, но все же не безъ основанія, называлъ сатиру Щедрина „двѣтами невиннаго юмора“. Дѣйствительно невиннаго, потому что юморъ, направленный безразлично во всѣ стороны, всюду выискивая смѣшное, отзывается балагурствомъ и зубоскальствомъ. А Щедринъ долго именно такимъ образомъ разбрасывалъ соль своей сатиры безъ опредѣленной цѣли. Но съ конца 60-хъ годовъ, ознаменованной появленіемъ гениальной „Исторіи одного города“, и особенно въ 70-хъ годахъ Щедринъ стрѣлы своихъ насмѣшекъ направляетъ уже не во всѣ стороны, а бьетъ все въ одну точку. Уже не холодный юморъ „надсмѣшника“, а истинно-злая иронія, облитая настоящею желчью и кровью, слышится теперь въ щедринскихъ произведеніяхъ. Онъ умѣетъ теперь ненавидѣть и властно предъявлять требованія своего наболѣвшаго сердца. Символически резюмируетъ всю дѣятельность Щедрина послѣднихъ 20 лѣтъ его жизни діалогъ „торжествующей свиньи“ съ „правдой“: сколько въ ней горькой ироніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ сколько непоколебимой ненависти человѣка, котораго стихійной силой пригнуло къ землѣ, но который тѣмъ не менѣе сохранилъ въ себѣ гордое стремленіе къ небу. И такъ какъ этотъ же періодъ установленія его идеаловъ, какъ гражданина, ознаменованъ также полнымъ развитіемъ художественныхъ силъ великаго сатирика, то Щедринъ становится не дѣятелемъ „партіи“, а писателемъ всероссійскимъ. Заслуга Щедрина, какъ и Толстого, въ томъ, что онъ заставилъ всѣхъ читать себя. И вотъ почему для основнаго тезиса настоящей книги чрезвычайно важно установить, что этотъ всероссійскій фаворитъ не только наносилъ удары всему подлому и пошлomu, но вмѣстѣ съ тѣмъ вышучивалъ и все просто „умѣренное и аккуратное“. Всѣмъ смысломъ своего непримиримаго сар-

казма Щедринъ звалъ къ общественному подвигу и уже самое меньшее создавалъ брезгливое отношеніе къ устройству своего личнаго благополучія. Идя по тому же пути, по которому шли два великихъ его учителя—Гоголь, окаррикурировавшій идею пріобрѣтательства въ лицѣ Чичикова и Грибоѣдовъ, созданиемъ Молчалина едва-ли на-всегда истребившій въ русской литературѣ самую возможность появленія положительнаго типа благополучнаго россиянина, Щедринъ пошелъ еще дальше ихъ. Онъ уже абсолютно отвергъ всякую поэзію пріобрѣтательства, столь любезную литературѣ западно-европейской, съ ея апофеозомъ чловѣка, устраивающаго себѣ „положеніе“ въ жизни.

Въ сферѣ пріобрѣтательства Щедринъ имѣлъ глаза только для Разуваевыхъ и Колупаевыхъ и вообще „чумазаго“, какъ онъ до крайности невѣжливо окрестилъ надвигающійся на Россію капитализмъ.

§ 47. Достоевскій не пріемлетъ міра, основаннаго на несправедливости.

Тѣснѣйшая связь Щедрина съ настроеніемъ 70-хъ годовъ и разгораніе его таланта въ той атмосферѣ кислорода высокихъ помысловъ и презрѣнія къ благамъ міра, о которой я говорилъ выше, едва-ли можетъ считаться вопросомъ сколько-нибудь спорнымъ.

Столь же безспорна эта связь по отношенію къ Некрасову, въ эти годы создавшему „Русск. женщинъ“ и послѣднюю часть „Кому на Руси жить хорошо“. Что касается Тургенева, то я уже не разъ указывалъ, въ какой мѣрѣ авторъ „Нови“ и „Порога“ подчинился обаянію нравственнаго подъема 70-хъ годовъ.

Связь Достоевскаго съ настроеніемъ 70-хъ годовъ въ свое время для многихъ была не ясна. Какъ современникъ и даже авторъ уже цитированной мною разъ статьи „Достоевскій и его популярность въ послѣдніе годы“, могу засвидѣтельствовать, что многихъ даже пугалъ тотъ огромный успѣхъ, тотъ апогей славы Достоевскаго (я говорю сейчасъ о славѣ прижизненной), который относится именно къ срединѣ и концу семидесятыхъ годовъ и получилъ такое гран-

діозное выраженіе въ царскихъ похоронахъ, ему устроенныхъ. Но именно эти похороны, на которыхъ было такое огромное количество молодежи, что на простолюдиновъ они произвели впечатлѣніе похоронъ „учителя“,—ясно показали, что въ успѣхъ Достоевскаго надо было разобраться. Онъ всего менѣе, конечно, свидѣтельствовалъ о какомъ бы то ни было поворотѣ къ дикому обскурантизму, котораго такъ много было у Достоевскаго эпохи „Дневника писателя“. Чуткіе элементы, сами охваченные беззавѣтнымъ стремленіемъ къ самопожертвованію, сумѣли выдѣлить въ Достоевскомъ тѣ два духовныхъ существа, которыя въ немъ соединились въ такую неотразимо влекущую къ себѣ силу. Достоевскій, говоря мистическимъ языкомъ, въ одно и то же время совмѣщаетъ въ себѣ и ангела, и дьявола. Никто не заражаетъ въ такой степени своимъ религіознымъ экстазомъ, какъ Достоевскій, и никто не опускается въ такія глубокія бездны невѣрія. Бездны потому и такія головокружительныя, что невѣріе это вышло не изъ равнодушія къ вѣрѣ, а изъ страстной, всепоглощающей жажды ея. Никто не можетъ быть такимъ злымъ и жестокимъ, какъ Достоевскій, но никто не можетъ доходить до такихъ высотъ величайшаго просвѣтлѣнія, и нѣтъ ему равнаго ни въ русской, ни во всемірной литературѣ по силѣ всепроникающей любви къ униженнымъ и оскорбленнымъ. И вотъ это-то и было оцѣнено теперь, между тѣмъ, какъ въ шестидесятыхъ годахъ изъ-за выходовъ противъ радикализма къ великому дарованію ивтора „Записокъ изъ мертваго дома“ и „Преступленія и наказанія“ относились холодно. Конечно, смѣшно было бы Достоевскаго считать въ какой бы то ни было мѣрѣ умственнымъ вождемъ поколѣнія 70-хъ годовъ. Но онъ до извѣстной степени можетъ быть названъ однимъ изъ вождей нравственныхъ. Никто не учился у него тому, что любить, но какъ бы учились самой любви, проникались силою ея и страстностью.

Достоевскій принадлежитъ къ числу тѣхъ безмѣрно-геніальныхъ писателей, по отношенію къ которымъ всякая эпоха выдвигаетъ свое особое пониманіе. Это не значитъ непремѣнно, что новое пониманіе устраняетъ старое. Просто, въ той многогранности, которая составляетъ характерную

черту всякаго великаго дарованія, пристальное изученіе открываетъ новую грань. Она и облюбовывается каждой эпохой, соотвѣтственно тому, что ее интересуеть по преимуществу. Происходить нѣчто аналогичное тому, что въ правѣ называется *рецепціей*, когда та или другая доктрина усваивается не цѣликомъ, а соотвѣтственно условіямъ времени и мѣста.

Рецепція Достоевскаго въ 80-хъ и позднѣйшихъ годахъ существеннѣйшимъ образомъ разнится отъ того, какъ понимали Достоевскаго раньше. И должно сказать, что та тщательность, съ которою послѣ смерти былъ изученъ и продолжаетъ быть изучаемымъ Достоевскій, чрезвычайно углубило его пониманіе и постиженіе высоты полета его духа. То, что, начиная съ 80-хъ годовъ, написали о Достоевскомъ съ одной стороны Михайловскій, съ другой Мережковскій, Розановъ, Шестовъ и многіе другіе, освѣтило такъ много новыхъ сторонъ, на которыя прежняя критика не обращала вниманія, что теперь, когда читаешь старья, прижизненные оцѣнки Достоевскаго, часто удивляешься ихъ элементарности.

Однако, эта углубленная разработка повела и къ чрезвычайной односторонности, къ тому, что каждый изъ новыхъ критиковъ, если и является проводникомъ, то не по всему огромному царству созданныхъ Достоевскимъ творческихъ образовъ и настроеній, а ведетъ насъ только по одной тропѣ.

Первый, кто началъ устанавливать это новое, несомнѣнно углубленное отношеніе къ Достоевскому, былъ Михайловскій. Настоящимъ критическимъ откровеніемъ была его статья „Жестокій талантъ“, гдѣ такъ неожиданно для большинства почитателей защитника „униженныхъ и оскорбленныхъ“ были подчеркнуты *мучительскія* стороны великаго дарованія Достоевскаго. Но можно-ли сказать, что выясненіе этихъ „жестокихъ“ сторонъ таланта Достоевскаго даетъ сколько-нибудь удовлетворительный ключъ къ пониманію основной окраски его писательской личности? Характернѣйшая особенность истерическаго генія Достоевскаго въ смѣшеніи „Содома и Мадонны“, въ томъ, что несомнѣнно ему присущее великое мучительство совмѣщается въ немъ со

столь же великимъ и безпримѣрнымъ въ исторіи литературы по своей силѣ и глубинѣ просвѣтлѣніемъ. Достоевскій—Ариманъ и Ормуздъ въ одно и то же время, а Михайловскій выдвинулъ только Аримана.

Не менѣе односторонне освѣтили Достоевскаго и тѣ критики, которыхъ интересуется въ немъ только пророческая сторона его дѣятельности. У нихъ вся оцѣнка Достоевскаго вертится около „Бѣсовъ“, Ивана Карамазова, Смердякова, Великаго инквизитора, изрѣдка „человѣка изъ подполья“. Едва-ли не половина того, что написано о Достоевскомъ критиками-модернистами и „богоискателями“ посвящена главѣ „Бунтъ“ изъ „Братьевъ Карамазовыхъ“. Оно, положимъ, глава эта имѣетъ въ себѣ что-то почти сатанинское, и страшно трудно удержаться отъ соблазна подумать, ужъ не говоритъ-ли словами богоборца Ивана Карамазова самъ Достоевскій. И все же этотъ интересъ къ Достоевскому только постольку, поскольку онъ необычаенъ и чрезмѣренъ, поскольку онъ изобразитель безднъ и проваловъ есть безусловная односторонность. Рядомъ съ Достоевскимъ страшнымъ и кошмарнымъ, есть Достоевскій понятный и въ этой своей понятности всѣмъ близкій и дорогой. Модернистско-богоискательская критика намѣренно и презрительно избѣгаетъ говорить о Достоевскомъ, какъ о писателѣ, столь безмѣрно близко принявшемъ къ сердцу своему „униженныхъ и оскорбленныхъ“—это ей кажется чѣмъ-то банальнымъ и дешевымъ. Ну, и Богъ съ нимъ, съ этимъ искаженіемъ литературной гастрономіи. А историкъ литературы долженъ констатировать какъ фактъ, что если однимъ изъ центральныхъ пунктовъ творчества Достоевскаго слѣдуетъ признать его ковырянія въ стилѣ человѣка изъ подполья, то столь же опредѣленно слѣдуетъ установить и слѣдующее:

Достоевскій — создатель образа Сони Мармеладовой, образа единственнаго во всей всемирной литературѣ по той безмѣрной смѣлости, съ которою въ самой подлой грязи прозорливость автора-человѣколюбца нашла величайшую нравственную красоту.

Достоевскій—создатель тоже безпримѣрнаго во всемирной литературѣ образа князя Мышкина, безпримѣрнаго тѣмъ, что авторъ, поставивъ себѣ почти неисполнимую эстетиче-

скую задачу—„изобразить положительно прекраснаго чело-
вѣка“, тѣмъ не менѣ исполнилъ ее. Онъ далъ образъ че-
ловѣколюбца истинно-лучезарной красоты.

И, наконецъ, въ своихъ неустанныхъ думахъ о міровой
и челоѳческой справедливости, Достоевскій дошелъ до со-
зданія единственнаго же — по страстности исканія смысла
мірового процесса—образа Ивана Карамазова. Достоевскій и
Иванъ Карамазовъ, конечно, не одно и тоже, но они вы-
шли изъ одного и того же гѣста. И если одинъ при-
шелъ къ „бунту“ противъ Божества, а другой усматриваетъ
выходъ въ непоколебимости вѣры, то не это важно при со-
зданіи такихъ новыхъ умственныхъ цѣнностей какъ фило-
софія Ивана Карамазова. Важно, что въ лицѣ Ивана Кара-
мазова съ небывалою категоричностью поставлена проблема:
міръ неприемлемъ, если онъ основанъ на несправедливости
и самолюбивѣйшей обидѣ. И потому исторія литературы должна
констатировать, что Достоевскій достигъ вершины любви къ
людямъ и кульминаціоннаго пункта альтруистическаго про-
теста. Общій смыслъ творческой пропаганды Достоевскаго
зоветъ къ дѣятельнѣйшему подвигу. Вся жизнь для него
окрашена въ сплошной героической цвѣтъ.

Всякій читатель, безъ различія категорій—и самый тонко-
чувствующій, и самый примитивный,—попадая въ сферу воз-
дѣйствія Достоевскаго, сразу охватывается этой раскаленной
атмосферой высокихъ помысловъ и глубокихъ настроеній.
Обыденщина куда-то безконечно далеко уходитъ, и вмѣстѣ
съ тѣмъ совершенно забывается, что имѣешь тутъ дѣло съ
„искусствомъ“, хотя бы и геніальнымъ. Тутъ то органиче-
ское сліяніе высокаго настроенія и высокаго выраженія его,
при которомъ нѣтъ возможности разграничить простое
„слово“ отъ вполне конкретнаго „дѣла“.

А затѣмъ въ частности, по вопросу объ отношеніи До-
стоевскаго къ завѣтнымъ думамъ русской интеллигенціи,
надо сказать вотъ что:

Если можетъ казаться, что Достоевскій ненавидитъ на-
строенія лучшей части русской интеллигенціи, то это ни
мало не по существу, а исключительно по тому, что До-
стоевскому представляется, что къ его святынь не такъ под-
ходятъ. Онъ страстно бродитъ около тѣхъ же темъ, на ко-

торыхъ сосредоточены думы русскихъ „крайнихъ“ партій. Опъ, если можно такъ выразиться, *враго-другъ*.

Тѣсная связь Достоевскаго съ настроеніями 70-хъ годовъ уже изъ одного того явствуетъ, что никто такъ близко, какъ Достоевскій, не принимаетъ къ сердцу тѣ вопросы, около которыхъ вертится душевная жизнь героевъ „Бѣсовъ“ и Ивана Карамазова. Въ его мнимой ненависти клокотаніе одного и того же бурнаго интереса къ однимъ и тѣмъ же жгучимъ запросамъ.

Вотъ уже гдѣ вполнѣ можно примѣнить знаменитое Герценовское сравненіе западничества и славянофильства съ двуликимъ Янусомъ, у котораго два лица, смотрящихъ въ разныя стороны, но сердце бьется одно. И если признать, что великъ Достоевскій именно какъ человѣколюбецъ и именно съ такимъ титуломъ входитъ въ исторію литературы, то тѣмъ самымъ устанавливается, что этотъ враго-другъ есть кость отъ кости той самой интеллигенціи, которая только на словахъ безбожная и безвѣрная, а на дѣлѣ полна самага напряженнаго религіознаго экстаза въ своихъ неустанныхъ исканіяхъ подвига.

§ 49. «Великая совѣсть» Льва Толстого объединила все человѣчество.

Когда рѣчь заходитъ о Толстомъ, то его, конечно, нельзя и не слѣдуетъ причислить къ одной какой-нибудь опредѣленной эпохѣ. Великій геній, онъ какъ бы внѣ времени и пространства. Но, все-же, совсѣмъ свободными отъ отпечатка своего времени не могутъ быть и самые великіе люди. И вотъ, если задаться вопросомъ, къ какой-же полосѣ исторіи русской литературно-общественной мысли всего ближе примыкаетъ творчество Толстого, то теперь, когда уже болѣе 30 лѣтъ Толстой сталъ синонимомъ человѣка, пересмотрѣвшаго и отвергшаго всѣ старыя общественныя нормы, на этотъ вопросъ не можетъ быть двухъ отвѣтовъ. Ближе всего онъ къ 70-мъ годамъ, когда совершенно опредѣленно обрисовался его разрывъ со старымъ міромъ. Съ 70-ми годами его органически роднитъ сила и жгучесть того *порыва*, который въ каждомъ движеніи составляетъ наиболѣе характери-

ческую его часть. Кореннымъ образомъ расходясь съ альтруистами 70-хъ годовъ въ путяхъ служенія народу, Толстой всецѣло къ нимъ примыкаетъ по тому чисто-мистическому экстазу, съ которымъ въ 70-хъ годовъ была выдвинута эта задача. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что величественная фигура Толстого неотразимо приковала къ себѣ вниманіе всего міра, главнымъ образомъ, въ столь характерномъ именно для 70-хъ годовъ образѣ „кающагося дворянина“.

Впрочемъ, вопросъ о томъ, къ какой эпохѣ отнести Толстого представляетъ для насъ сейчасъ совершенно второстепенный интересъ. Огромнѣйшее значеніе имѣетъ для основного тезиса настоящей книжки общая окраска его творчества. Столь рѣшающее, что какъ будто устраняетъ даже самую необходимость приводить какія-бы то ни было другія доказательства того, что героическая окраска есть самая основная черта новой русской литературы. Ибо, если представить себѣ такое собраніе избраннѣйшихъ умовъ и душъ, на которое каждому изъ европейскихъ народовъ пришлось-бы отрядить всего только *одного* представителя, то этимъ посломъ русскаго народа только и можетъ быть величайшій изъ сыновъ его—Толстой. А совокупность дѣятельности великаго писателя русской земли въ такой мѣрѣ ярко-героична, что ослѣпительный свѣтъ этого горѣнія не можетъ не озарить собою и всей той литературы, геніальнымъ выразителемъ духа которой онъ является.

Если я, тѣмъ не менѣе, хочу кое-что сказать сейчасъ о Толстомъ, то потому, что настоящія строки частью корректируются, а большею частью заново пишутся въ скорбные дни, когда все человѣчество потрясено смертью Толстого, и мнѣ важно подчеркнуть то новое, что въ придачу ко всей жизненной дѣятельности Толстого внесено этою смертью. Если героиченъ весь духовный обликъ Толстого, то смерть его и то волненіе, которое сейчасъ охватило все человѣчество, сообщило этому и безъ того недосыгаемо-высокому облику еще сугубую какую-то лучезарность. Смерть Толстого объединила все человѣчество въ одномъ порывѣ, въ одномъ чувствѣ духовнаго просвѣтленія. И какъ мнѣ кажется, этотъ небывалый наплывъ высокихъ настроеній, созданный смертью Толстого, внесъ, говоря выраженіемъ Виктора

Гюго, въ психологію современнаго человѣчества одно такое „новое трепетаніе“, которое безслѣдно пройти не можетъ.

Я сейчасъ перейду къ этому, какъ мнѣ кажется, вполне реальному новому трепетанію, а предварительно я хотѣлъ-бы установить нѣсколько важныхъ фактовъ, нѣсколько основныхъ чертъ героическаго образа Толстого.

Прежде всего мнѣ, въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что я говорилъ въ § 1 о міродержавномъ рангѣ русской литературы, интересно подчеркнуть, что Толстой—не просто знаменитый писатель, а самый знаменитый писатель всей ново-европейской литературы. Никто еще не достигалъ такой безмѣрной популярности. Въ нѣкоторую параллель могутъ идти изъ писателей 19-го вѣка только Гете и Викторъ Гюго. Но никто изъ нихъ не былъ такимъ властителемъ душъ, какъ Толстой, и никто не пользовался такимъ всемірнымъ вліяніемъ. Гюго въ Франціи даже очень мало любили, а что касается Гете, то онъ былъ слишкомъ аристократиченъ въ своемъ олимпійскомъ величіи и всегда былъ любимцемъ круговъ избранныхъ. Между тѣмъ Толстой, доставляя самое высокое художественное наслажденіе самымъ тонкимъ цѣнителямъ изящнаго слова, вмѣстѣ съ тѣмъ доступенъ и близокъ самому элементарному читателю, вплоть до читателя простонароднаго.

Конечно, эта небывалая популярность обусловлена не одною литературною дѣятельностью Толстого. Несомнѣнно, что главная причина популярности Толстого въ томъ, что въ его лицѣ не только могущественно соединились великій художникъ съ великимъ моралистомъ, но, кромѣ того, слово стремилось идти рука объ руку съ дѣломъ. Несомнѣнно, что именно личная жизнь Толстого, его хотя и несовершенная, и не всегда послѣдовательная, но все-же рѣшительная попытка отказаться отъ благъ міра сего, жить новою, хорошою жизнью, имѣющею въ основѣ своей только высокія, идеальныя цѣли и познаніе истины, и довели обаяніе имени Толстого до вполне легендарныхъ размѣровъ. Но все же въ центрѣ этого обаянія стоитъ литературная личность Толстого.

Лѣтъ десять тому назадъ, когда я писалъ статью о Тол-

стомъ для „Энцикл. Словаря“, я задался, между прочимъ, цѣлью выразить и тогда уже безмѣрную популярность Толстого въ цифрахъ. И тогда уже легендарная знаменитость Толстого наглядно сказывалась въ небываломъ успѣхѣ его сочиненій, въ небываломъ количествѣ переводовъ ихъ на иностранные языки и въ поистинѣ необъятномъ количествѣ посвященныхъ Толстому статей и книгъ. Теперь все это увеличилось въ прогрессіи геометрической.

Передъ нами популярнѣйшій — всѣхъ временъ и народовъ — писатель. Болѣе популярный, болѣе читаемый, болѣе переведенный на иностранные языки, чѣмъ самъ *Шекспиръ*!

Но странное дѣло! Этотъ-то величайшій писатель, строго говоря, никогда не былъ писателемъ въ непосредственномъ смыслѣ слова. Какъ характерно, что достигнувъ высшей точки литературной славы и значенія, Толстой, однако, никогда не былъ тѣмъ, что можно назвать профессиональнымъ литераторомъ, понимая тутъ *профессиональность*, конечно, не въ смыслѣ матеріальной профессіи, дающей средства къ жизни, а даже въ менѣе тѣсномъ смыслѣ преобладанія литературныхъ интересовъ. Изъ біографіи огромнаго большинства писателей мы знаемъ, какъ уже въ раннемъ дѣтствѣ у нихъ пробуждается и прямое желаніе стать писателями, и повышенная воспримчивость къ литературнымъ явленіямъ. А уже въ зрѣломъ возрастѣ — и личные, и общіе литературные интересы прямо составляютъ центръ писательскаго существованія. Вспомнимъ праведника литературы русской Бѣлинскаго, который просилъ, чтобы ему въ гробъ подъ изголовье положили томъ „Отеч. Записокъ“, гдѣ онъ съ такимъ упоеніемъ отдавался своей критической работѣ: „ибо литературѣ рассейской — жизнь моя“. Вспомнимъ Пушкина, который терпѣть не могъ, чтобы свѣтскіе знакомые относились къ нему какъ къ писателю, но который въ собственномъ сознаніи считалъ себя богоравнымъ именно потому, что онъ писатель и въ моменты творчества испытывалъ волненія необычайныя: „надъ вымысломъ слезами обольюсь“! На что сродни пророкамъ Достоевскій, но и онъ былъ насквозь литераторъ, даже полный ненависти къ людямъ противоположнаго литературнаго лагеря. Отходящій отъ жизни Тургеневъ только и думаетъ, что о литературѣ, о „великомъ,

могучемъ, правдивомъ и свободномъ русскомъ языкѣ“, о томъ какъ бы „вернуть“ Толстого къ „литературѣ“ въ непосредственномъ смыслѣ художественнаго творчества.

Ничего подобнаго у Толстого. Чисто-литературные интересы всегда у него стояли на заднемъ планѣ, а на первомъ его непосредственная личность и ея запросы. Онъ писалъ между прочимъ, когда вполне назрѣвала потребность, почти не зная „мукъ слова“. А въ обычное время Толстой былъ свѣтскій человѣкъ, офицеръ, помѣщикъ, педагогъ, учитель жизни и т. д. Онъ никогда не нуждался въ литературномъ обществѣ, скорѣе избѣгалъ его, онъ никогда не принималъ близко къ сердцу интересы литературныхъ кружковъ и партій, весьма неохотно бесѣдовалъ о литературѣ, всегда предпочитая имъ разговоры о вопросахъ вѣры, морали, общественныхъ отношеній и т. д. Можетъ быть потому, что Толстой совершенно не зналъ литературныхъ неудачъ, ему было почти чуждо литературное самолюбіе—„навѣрное никогда не было писателя, столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я“, писалъ въ 1874 году Фету авторъ „Войны и Мира“ и „Анны Карениной“.

Вотъ почему, въ общемъ, ни одно произведеніе Толстого не „воняетъ литературой“, говоря выраженіемъ Тургенева, т. е. не вышло изъ книжныхъ настроеній, изъ литературной замкнутости. И несомнѣнно въ этомъ полномъ отсутствіи всякаго литературничанія одинъ изъ источниковъ той почти стихійной силы, которою великъ Толстой. Все въ немъ было какъ-то стихійно-могуче. Символично самое имя его—Левъ, могучъ былъ его ростъ, поразительна физическая выносливость. Онъ свѣтитъ и грѣетъ безъ напряженія, и стихійно-сильный онъ и читателя покоряетъ какъ стихіи, могуществу которыхъ человѣкъ покоряется съ такимъ легкимъ и яснымъ чувствомъ.

Самая смерть Толстого какая-то стихійная. Въ народѣ существуетъ повѣрье, что человѣка предъ кончиной „смерть зоветъ къ себѣ“, и онъ стремится поэтому умереть не дома. Въ основѣ этого повѣрья, весьма возможно, лежитъ фактъ зоологически-несомнѣнный. Крупныя животныя, чуя близость конца, уходятъ на другое мѣсто и готовятъ себѣ мѣсто вѣчнаго упокоенія. Въ народѣ, у котораго бли-

зость къ природѣ тѣснѣе, и это органическое стремленіе къ разрыву со старымъ ярче. Мнѣ самому пришлось быть свидѣтелемъ такого непреодолимаго стремленія простолюдина умереть внѣ обычныхъ условій. И вотъ у Толстого сказалась та-же стихійность желанія какого-то послѣдняго очищенія. Передъ смертью что-то неудержимо повлекло его порвать со старою обстановкою и пожить хоть мигъ тою жизнью, которая ему казалась настоящей.

„Настоящей“ жизни Толстой страстно жаждалъ съ первыхъ моментовъ сознательнаго существованія своего.

Неуклонно стремился онъ къ тому, чтобы выработать изъ себя *совершеннаго человека*. Съ нѣжнаго отрочества шла въ немъ напряженнѣйшая внутренняя борьба и выработка строгаго нравственнаго идеала. Все то, что рассказано въ „Отрочествѣ“ и „Юности“ о стремленіяхъ Иртеньева и Нехлюдова къ самоусовершенствованію, всѣ эти наложенныя на себя испытанія, вродѣ того, чтобы держать по долгу въ вытянутыхъ рукахъ томы огромныхъ лексиконовъ Татищева, всѣ эти стеганія себя по голой спинѣ и т. п. — взяты изъ исторіи собственныхъ аскетическихъ попытокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ разнообразнѣйшіе, какъ ихъ опредѣляетъ самъ Толстой „умствованія“ о главнѣйшихъ вопросахъ нашего бытія—счастья, смерти, Богѣ, любви, вѣчности болѣзненно мучили его еще въ ту эпоху жизни, когда сверстники его и братья всецѣло отдавались веселому, легкому и беззаботному времяпрепровожденію богатыхъ и знатныхъ людей. Эти аскетическіе порывы и „умствованія“, шедшіе рядомъ съ инстинктивными порываніями къ безхитростному пользованію благами жизни, привели къ тому мучительнѣйшему разладу, который проходитъ чрезъ всю дальнѣйшую жизнь Толстого. И потому важно, очень важно отмѣтить, что чрезвычайно дорогою цѣною далось Толстому его стремленіе къ совершенству. Можно сказать, все содержаніе его жизни—въ мучительной борьбѣ съ противорѣчіями жизни и въ страданіяхъ *но-альтруистическаго* характера, отсюда для Толстого истекающихъ. Подчеркиваю: *но-альтруистическихъ*, потому что тутъ важный въ психологическомъ отношеніи отбѣнокъ. Дѣло въ томъ, что будучи однимъ изъ самыхъ великихъ моралистовъ всѣхъ вре-

мень и народовъ, Толстой вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, едва-ли не былъ лишенъ *непосредственности* душевныхъ порывовъ, безпримѣснаго стремленія къ нравственному совершенству. Я когда-то опредѣлилъ Бѣлинскаго какъ „великое сердце“, потому что вся душевная жизнь этой кристально-прозрачной души состояла исключительно изъ идеально-чистыхъ порывовъ, изъ восторженно-безкорыстныхъ помысловъ о достиженіи истины. Никогда Бѣлинскій не заботился о томъ, какъ пристроить *свою* личность при достиженіи истины и осуществленіи идеаловъ. И этой-то беззавѣтности никогда не было у Толстого. Онъ самъ слишкомъ подробно разсказалъ намъ исторію своей души и ея не всегда побѣдоноснаго боренія, чтобы дать намъ какое-бы то ни было основаніе считать ее кристально-чистой. У Толстого есть много того, что Нитче называетъ *menschlich, allzu menschlich*—человѣческаго, слишкомъ человѣческаго. Но какъ разъ это-то и увеличиваетъ цѣну окончательной побѣды. На высокій путь своихъ окончательныхъ рѣшеній онъ попадаетъ не сразу, а послѣ извѣстнаго усилія необыкновенно чуткаго нравственнаго сознанія своего. И вотъ, по силѣ и жгучести этого желанія стать на высоту самыхъ строгихъ нравственныхъ требованій, я въ *pendant* къ „великому сердцу“ и назвалъ въ своей статьѣ Толстого *великою совѣстью*. Съ моей легкой руки эпитетъ пошелъ въ ходъ и особенно часто попадаетъ въ некрологическихъ статьяхъ. Понимаютъ его, однако, слишкомъ однотонно, безъ подчеркиванія, что тутъ не просто высокое свойство, а свойство выстраданное. Вѣдь если хотите, „великая совѣсть“ можетъ быть еще бѣльшая заслуга, чѣмъ „великое сердце“. Великое сердце дается отъ рожденія, великая совѣсть—черта въ значительной мѣрѣ благопріобрѣтенная, нѣчто такое, надъ чѣмъ надо трудиться. И потому, можетъ быть, такъ и заражаетъ работа великой совѣсти Толстого, что ясно чувствуется бореніе въ немъ противоположныхъ силъ. Оттого такъ и величественна душевная трагедія Толстого, что всю жизнь онъ мучился, стремился побѣдить въ себѣ ветхаго Адама, всю жизнь страдалъ отъ этой двойственности.

Были въ жизни Толстого приливы и отливы, періоды бѣльшаго и меньшаго напряженія страданій великой совѣсти,

но въ общемъ эта работа совѣсти прошла красной нитью по всей и личной и литературной жизни его. Теперь, когда жизнь Толстого извѣстна намъ почти день за днемъ, можно уже совершенно опредѣленно говорить, что должно быть совершенно отброшено старое представленіе о *двухъ* періодахъ ея. Тѣ, которымъ никакъ нельзя было уклониться отъ соболѣзнованій по поводу смерти „великаго писателя земли русской“, такъ и норовили установить первый періодъ, похвальный, когда Толстой былъ *только* художникомъ, и второй, когда онъ сталъ моралистомъ. Все это вздоръ и незнаніе Толстого. Толстой одинъ на всемъ протяженіи своей жизни, отъ колыбельки до могилки.

Но несомнѣнно, конечно, что во второмъ періодѣ работа великой совѣсти была виднѣе всему свѣту.

И когда начинаешь вдумываться въ основу того, что сдѣлало Толстого поистинѣ легендарной личностью, то, конечно, сначала теряешься, что тутъ важнѣе—великій человекъ или великій писатель. Которая изъ этихъ двухъ ипостасей приковала къ себѣ вниманіе міра?

Однакоже, не схоластика-ли все это желаніе отдѣлить человека отъ писателя? Не все-ли равно въ концѣ концовъ? Не будь Толстой великимъ писателемъ, онъ не привлекъ-бы къ себѣ такого вниманія. Будь онъ *только* писателемъ—онъ тоже не попалъ-бы на такую высоту въ сознаніи народовъ. Великъ Толстой—вотъ и все, подраздѣленія лишни. Въ § 13 я уже говорилъ о томъ, что слѣдовало бы назвать литературнымъ *монизмомъ*. Къ Толстому особенно важно примѣнять это понятіе.

И я могъ бы закончить словами Гамлета—*человѣкъ онъ былъ*, если бы мнѣ не хотѣлось подчеркнуть еще одно важное обстоятельство въ величіи Толстого. Не только *человѣкъ* онъ былъ, но и *всечеловѣкъ*; первый настоящій *всечеловѣкъ*, о которомъ напрасно мечтали славянофилы и Достоевскій. Толстой не только великій писатель земли русской, онъ самый настоящій *объединитель всего человечества*. Уже лѣтъ 20—25 приходилось задумываться надъ тѣмъ, гдѣ Толстой популярнѣе—у себя дома или въ Европѣ и Америкѣ. Съ каждымъ годомъ отвѣтъ становился все болѣе и болѣе затруднительнымъ, ибо ученіе Толстого, дѣйствительно обнимающее все

человѣчество, безъ различія странъ, расъ и климатовъ сдѣлало его и дорогимъ всему человѣчеству. Величественная смерть Толстого, красивая какъ настоящая легенда, эта „дѣйствительность“, болѣе яркая чѣмъ „выдумка“ привели къ тому, что *впервые во всей всемирной исторіи* былъ такой моментъ, когда все человѣчество слилось въ одномъ чувствѣ. Да, впервые во всемирной исторіи! Настаиваю на этомъ. Въ настоящее время международное общеніе, конечно, сдѣлало, вообще, колоссальные успѣхи, и мечта о единомъ человѣчествѣ просто силою вещей осуществляется. Начиная съ фасона шляпъ, покроя платья и вплоть до высшихъ духовныхъ интересовъ человѣчество едва ли не на половину живетъ общею жизнью. Все, что совершается въ одной странѣ, вплоть до особенно выдающихся глупостей и пошлостей, черезъ нѣсколько часовъ становится достояніемъ всего міра. Крупныя событія одной страны страшно волнуютъ и другія страны. Но какъ волнуютъ? Развѣ въ одномъ направленіи, въ одномъ „трепетаніи“? Ни мало. Возьмите какую-нибудь Цусиму. Конечно, весь міръ былъ взволнованъ Цусимой не меньше, чѣмъ смертью Толстого. Но какъ взволнованъ? Половина радовалась, половина скорбѣла. А помимо этого раздѣленія, въ какомъ направленіи шло душевное волненіе? Одни скрежетали и были полны злобы, другіе радовались — но радостью отвратительною, радостью канибаловъ.

А смерть Толстого впервые настроило все человѣчество на одинъ и тотъ же *высокій ладъ*. Вотъ такого-то единенія никогда еще не было!

И въ этомъ единственномъ моментѣ всемирной исторіи есть нѣчто столь важное, что я имѣлъ право сказать въ телеграммѣ, написанной мною по порученію Спб. Литературнаго Общества:

„Къ глубокой скорби, вызванной утратой того, въ геніальномъ дарованіи котораго такъ дивно сочетались художественное совершенство съ величайшимъ исканіемъ правды, невольно примѣшивается и что-то просвѣтляющее — когда присматриваешься къ единенію, которое сплотило въ настоящій моментъ весь міръ въ единомъ чувствѣ. Осуществилась мечта Толстого о единомъ человѣчествѣ. Великая бла-

годарность тому, кто звалъ всѣ народы міра къ добру и правдѣ, уничтожила всѣ границы политическія и физическія. На всѣхъ языкахъ поется теперь хвала великому борцу за освобожденіе человѣчества“.

И имѣлъ я также право сказать дальше, и это мнѣ особенно дорого:

„Такіе моменты не могутъ пройти безслѣдно. И нельзя сомнѣваться, что на почвѣ вѣрности завѣтамъ Толстого вѣчно будутъ объединяться всѣ искатели правды. Толстой ушелъ, но бессмертны его великіе призывы. Праведникъ угасъ, но свѣтъ его остался“.

Своей фразѣ „такіе моменты не могутъ пройти безслѣдно“ я придаю совершенно *реальное* значеніе. И вотъ почему.

Едва-ли кто сомнѣвается въ томъ, что вся историческая жизнь проходитъ въ формѣ наростанія или ослабленія тѣхъ или иныхъ *настроеній*. Изъ русскихъ мыслителей уже Лавровъ достаточно убѣдительно показалъ, что, собственно говоря, „исторія“ есть фикція. Есть только личности и ихъ настроенія. Другое, конечно, дѣло, чѣмъ эти настроенія создаются. Трижды правъ и Толстой, когда говоритъ, что „царство Божіе внутри насъ“. Правъ онъ и тогда, когда говоритъ, что стоитъ только людямъ не захотѣть идти на войну, не платить податей и т. д., и ничего этого не будетъ. Онъ только совершенно не правъ, когда утверждаетъ, что стоитъ только человеку *захотѣть*, чтобы привести свое хотѣніе въ исполненіе.

Въ томъ-то и дѣло, что, помимо всякихъ *внѣшнихъ* обстоятельствъ, и внутренне захотѣть ужасно трудно. Для этого нуженъ *психологическій навыкъ*, нужно привыкнуть думать въ извѣстномъ направленіи.

Но когда этотъ навыкъ пріобрѣтенъ, тогда остальное— дѣло времени. Когда психологически извѣстная реформа назрѣла, извѣстный переворотъ подготовленъ—онъ не замедлитъ осуществиться.

И потому-то и слѣдуетъ придавать огромное значеніе моменту единенія всего человѣчества въ дни смерти и похоронъ Толстого.

И психологія, и біологія намъ говорятъ, что никакой *навыкъ* не проходитъ безслѣдно, и что всякое глубокое *настроеніе*, разъ запавшее въ душу человѣческую, есть залогъ

дальнѣйшаго развитія этого настроенія. Не могутъ поэтому безслѣдно пройти и минуты перваго вселенскаго единенія, только-что пережитаго человѣчествомъ.

У всѣхъ теперь на языкѣ удивительный рассказъ о „Зеленой палочкѣ“, которую восторженный старшій братъ Толстого, Николенька, будучи 11-лѣтнимъ мальчикомъ, покрылъ какими-то таинственными надписями и зарылъ въ оврагѣ. Надписи открывали „тайну о томъ, какъ сдѣлать, чтобы всѣ люди не знали никакихъ несчастій, никогда не ссорились и не сердились, а были-бы постоянно счастливы“. Ребенкомъ Толстой искалъ самую палочку въ яснополянскомъ „Старомъ Заказѣ“, гдѣ просилъ „закопать“ и свой „трупъ“ въ память о зеленой палочкѣ и Николенькѣ. Потомъ сталъ онъ искать ее инымъ путемъ и подъ конецъ жизни былъ глубоко убѣжденъ, что на слѣдъ ея попалъ. „И какъ я тогда вѣрилъ, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло въ людяхъ и дать имъ великое благо, такъ я вѣрю и теперь, что есть эта истина и что будетъ она открыта людямъ и дастъ имъ то, что она обѣщаетъ“.

Не надо быть ни утопистомъ, ни Маниловымъ, чтобы увѣрять въ обрѣтеніе „зеленой палочки“. Самое трезвое изъ всѣхъ социальныхъ ученій, и уже всего менѣе повинное въ сентиментальности — социаль-демократическая доктрина, и та учитъ, что кромѣ „борьбы классовъ“ человѣчество придетъ къ лучшему будущему путемъ нравственнаго перевоспитанія. Съ развитіемъ общественныхъ чувствъ измѣнится устремленіе страстей нашихъ, и хищническое благополучіе просто перестанетъ быть привлекательнымъ.

И мнѣ думается, что въ моментъ всемірной скорби по Толстомъ и всеобщаго сосредоточенія всѣхъ думъ на вопросахъ высшей морали, человѣчество опредѣленно вступило на тотъ путь, идя по которому оно зеленую палочку непременно найдетъ.

§ 50. Уныніе 80-хъ годовъ и творческая тоска Чехова.

Героическая эпоха 1870-хъ годовъ кончилась полнымъ крушеніемъ демократическихъ надеждъ, и въ началѣ 1880-хъ годовъ наступаетъ самая страшная изъ всѣхъ русскихъ реакцій.

Не тѣмъ страшна она была, что восторжествовалъ мрачный геній Побѣдоносцева, этого воплощеннаго „великаго инквизитора“, глубоко убѣжденнаго въ томъ, что принципомъ власти могутъ быть только бичи и тюрьмы. Страшенъ періодъ Побѣдоносцевщины тѣмъ, что реакція была не только бюрократическая, но и общественная. Если по истинѣ бѣшенной можно назвать реакцію 1848—1855 гг., то все-же это была реакція исключительно-правительственная. Жестоко напугавъ и устранивъ російскаго обывателя и читателя, она не отравила души его. Реакція, наступившая въ срединѣ 60-хъ годовъ, уже отчасти захватила и общество. Перепугался быстроты російскаго прогресса средній русскій обыватель и сталъ прислушиваться къ голосу перемѣнишаго дирекцію Каткова. Но и эта, хотя до извѣстной степени тоже общественная, реакція захватила только „отцовъ“, только наименѣе активные элементы. Въ 80-хъ же годахъ не только средній обыватель спрятался въ подворотню, но и произошла печальная перемѣна въ настроеніи самыхъ высокихъ духомъ слоевъ русской интеллигенціи. Крушеніе надеждъ путемъ активнаго воздѣйствія достигнуть осуществленія демократическихъ идеаловъ ведетъ за собою не только уныніе, но и разложеніе прежней демократической программы. Одно время казалось, что порывы къ самопожертвованію, жажда правды, тоска по идеалу начинаютъ исчезать въ самой даже чуткой части русскаго общества — въ учащейся молодежи.

Однакоже, очень не надолго. Быстро вновь начинаетъ пускать ростки основное зерно русскихъ настроеній — то „святое недовольство“, которое въ моменты подъема ведетъ къ дѣятельной борьбѣ со зломъ, а въ моменты унынія хотя и ведетъ къ тоскѣ, но къ тоскѣ особаго рода, отъ которой вѣтъ не смертью, а жизнью, къ тоскѣ, которая можетъ быть названа началомъ творческимъ.

Яркимъ воплощеніемъ этой *творческой* тоски явился Чеховъ.

На творчествѣ его запечатлѣлась та мрачная полоса отчаянія и безнадежной тоски, которая въ 80-хъ гг. охватила нравственно-чуткіе элементы русскаго общества. Утомившись въ безрезультатной борьбѣ, эти чуткіе слои были теперь раз-

давлены сознаниемъ, что они совершенно безсильны побороть косность окружающей среды, что безмѣрно разстояніе между ея идеалами, переросшими даже высшій расцвѣтъ европейской цивилизаціи, и мрачно-сѣрымъ, безпросвѣтнымъ фономъ живой русской дѣйствительности. Во всемъ своемъ ужасѣ царила Побѣдоносцевщина, и недавнее воодушевление смѣнилось сознаниемъ своего полного банкротства предъ реальнымъ ходомъ исторіи. Отсюда рожденіе поколѣнія, часть котораго утратила самое стремленіе къ идеалу и слилась съ окружающей пошлостью, а другая часть дала неврастениковъ, „нытиковъ“, безцвѣтныхъ, проникнутыхъ сознаниемъ, что плетью обуха не перешибешь, силу косности не сломишь. Эти Гамлетики годились только для того, чтобы всѣмъ надоѣдать жалобами на свою безпомощность и ненужность.

Этотъ-то періодъ неврастенической разслабленности русскаго общества и нашелъ въ лицѣ Чехова своего художественнаго историка.

Въ общемъ, рожденный тусклой мглой безвременья, пессимизмъ Чехова принялъ ужасающіе размѣры. Художественный анализъ его весь сосредоточился на изображеніи бездарности, пошлости, глупости россійскаго обывателя и безпросвѣтнаго погрязанія его въ тинѣ ежедневной жизни. Есть, однако, пессимизмъ и пессимизмъ. Нужно разобраться и въ Чеховскомъ пессимизмѣ, нужно непременно отдѣлать его отъ того расхожаго пессимизма, который, относясь насмѣшливо къ новаторству, какъ къ мальчишескому „идеальничанію“, столь близко соприкасался съ апофеозомъ буржуазнаго „благоразумія“. Если Чеховъ такъ жестоко относился къ нытикамъ Побѣдоносцевскаго безвременья, если онъ не мечетъ для ихъ оправданія громовъ противъ засасывающей силы „среды“ и т. д., то онъ вмѣстѣ съ тѣмъ относится съ глубочайшей симпатіей къ тому кругу идей, изъ котораго исходили наши Гамлеты, пара на грошъ. Если мы для иллюстраціи отношенія Чехова къ обанкрутившимся интеллигентамъ 80-хъ годовъ возьмемъ наиболѣе цѣльный типъ этого рода—Иванова изъ драмы того же названія, то какой мы изъ него должны сдѣлать выводъ? Ни мало не тотъ, что не слѣдуетъ быть новаторомъ, что не слѣдуетъ бороться съ

рутиною, что не слѣдуетъ вступать въ борьбу съ общественными предрассудками и т. д. Нѣтъ, драма только констатируетъ, что такимъ слабнякамъ, какъ Ивановъ, новаторство, дѣйствительно, не по силамъ. Только такое безсиліе неумолимо и подчеркиваетъ Чеховъ, и это чрезвычайно важно для уразумѣнія истинной сущности духовной личности Чехова, черезъ все творчество котораго проходитъ глубокая тоска по чему-то свѣтлому и сильному. Было время, когда Чехова обвиняли въ глубокомъ индифферентизмѣ. Михайловскій ярче всѣхъ формулировалъ этотъ упрекъ, сказавъ, что Чеховъ съ одинаковымъ хладнокровіемъ направляетъ свой превосходный художественный аппаратъ на ласточку и самоубійцу, муху и слона, слезы и воду. Эти упреки должны быть отброшены, и тотъ же Михайловскій проникательно уже въ „Скучной Исторіи“ усмотрѣлъ „авторскую боль“. Теперь, когда предъ нами весь ансамбль творческой дѣятельности художника, совершенно ясно, что если у Чехова и не было опредѣленнаго міросозерцанія въ смыслѣ примыканія къ одной опредѣленной партіи, если у него не было опредѣленныхъ общественно-политич. ихъ идеаловъ, то у него, все-таки, была несомнѣнная тоска по идеалу вообще. Онъ потому ко всему относился отрицательно, что у него были большія нравственныя требованія. Онъ не создалъ положительныхъ типовъ, потому что не могъ довольствоваться малымъ. Если, читая Чехова и приходишь въ отчаяніе, то это отчаяніе безусловно облагораживающее, потому что оно вселяетъ глубокое отвращеніе къ мелкому, пошлому, потому что срываетъ покровы съ буржуазнаго благополучія и создаетъ презрѣніе къ отсутствію нравственной и общественной выдержки. Въ этомъ смыслѣ Чеховское уныніе и было началомъ вполне творческимъ и стало однимъ изъ ферментовъ того великаго броженія, того великаго прилива бодрости, которымъ знаменуется конецъ Побѣдоносцевскаго періода.

Въ общемъ, такимъ образомъ, Чеховъ, если не зоветь къ подвигу прямо, въ формѣ опредѣленнаго призыва, то все-таки героическое пониманіе жизни органически, всѣмъ смысломъ его творчества, ему въ той-же степени присуще какъ и Достоевскому, какъ и Тургеневу, Толстому и прочимъ большимъ и малымъ печальникамъ литературы рус-

ской. Въ такъ называемыхъ „Чеховскихъ тонахъ“ нѣтъ мѣста ни самодовольству, ни пріобрѣтательству. Мира мѣщанскаго Чеховъ не пріемлетъ.

§ 51. Русскій марксизмъ въ психологической основѣ своей однороденъ съ наущимся дворянствомъ.

Идейное оскудѣніе и ослабленіе въ чуткихъ элементахъ интереса къ высшимъ задачамъ жизни не могли длиться долго. Эпохи самоотверженія часто смѣняются эпохами, когда на первый планъ выступаютъ зоологическіе инстинкты и жажда наслажденій. Но зоологическіе инстинкты не могутъ долго владѣть обществомъ, основною чертою котораго всегда была жажда къ нравственному совершенствованію и подвигу. И достаточно было первой рельефно вырисовавшейся бѣды—голода 1891 года, чтобы все хорошее опять всплыло наружу и чтобы порывъ къ подвигу снова получилъ могучую притягательную силу. Картина народныхъ бѣдствій „голоднаго года“ разбудила уснувшую совѣсть русскаго общества, и снова зашевелилась рѣшимость освободить родину отъ того порядка вещей, который приводитъ ее къ гибели.

Со свойственной ему отзычивостью Боборыкинъ уловилъ народное настроеніе и мѣтко охарактеризовалъ его заглавіемъ своего романа „Переваль“ (1894). Да, это былъ настоящій переваль не только черезъ мрачную громаду Побѣдоносцевскаго византизма, но и черезъ болѣе страшную полосу общественной реакціи и апатіи.

Этотъ знаменательный „переваль“ выразился наиболѣе бурнымъ и яркимъ образомъ въ формѣ „марксизма“.

По внѣшнему обличью предъ нами политико-экономическое ученіе — споръ съ „народниками“ о томъ, должна ли Россія непременно пройти черезъ горнило капитализма, или же особенности русской народной жизни — община, артельное начало и т. д. избавятъ ее отъ такого испытанія.

Было бы великою ошибкою думать, что суть ожесточеннаго ратоборства того времени сводилась къ научно-экономическимъ разногласіямъ. Какъ и въ сороковыхъ годахъ — вспомнимъ свидѣтельство Салтыкова (§ 35),

не въ политической тутъ экономіи было дѣло. Интересъ, съ которымъ въ журналахъ читались статистическія и экономическія статьи, лихорадочныя, горячія лица молодежи, переполнявшей залы засѣданій ученыхъ обществъ въ дни докладовъ на экономическія темы, связанныя съ марксизмомъ, раздѣленіе на марксистовъ и народниковъ вплоть до такихъ круговъ, гдѣ едва ли могло быть вполне точное представленіе о научной сторонѣ вопроса, все это показывало, что вопросъ переросъ научныя рамки. Очевидно, было задѣто нѣчто основное, нѣчто очень сокровенное въ общественной психологіи.

Настоящая суть облеченнаго въ форму политико-экономической теоріи марксизма въ томъ, что въ угнетенной психологіи человѣка Побѣдоносцевскаго лихолѣтья произошелъ переломъ. Дѣло тутъ въ крупной перемѣнѣ общественной психологіи, въ подъемѣ чувства „активности“. Весь марксизмъ сводится къ замѣнѣ поколѣнія, уставшаго отъ неудачъ, поколѣніемъ свѣжимъ, къ приливу общественной бодрости, а не къ забавной въ устахъ студентовъ и курсистовъ „борьбѣ классовъ“.

На первыхъ порахъ можно было смущаться тѣмъ, что марксизмъ якобы есть апогеозъ силы, что онъ знаменуетъ собою какое-то ослабленіе порывовъ самоотверженія. Но вѣдь проповѣдниками обезземеленія народа и превращенія его въ фабричныхъ пролетаріевъ явились не фабриканты и промышленники, а такіе же искренніе радѣтели о благѣ народномъ, какъ и тѣ, которыхъ они упрекали въ сентиментализмъ. И марксизмъ, слѣдовательно, былъ движеніемъ чисто-идейнымъ и идеалистическимъ, самымъ фактомъ своего существованія представлявшій яркое опроверженіе теоріи экономического матеріализма и борьбы классовъ. Также какъ мнимый матеріализмъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ по существу своему былъ самымъ мечтательнымъ романтизмомъ, такъ и „экономическій матеріализмъ“ девятидесятыхъ годовъ есть продолженіе общаго идеалистическаго стремленія лучшей части русскаго общества заглазить свою историческую вину передъ народомъ. Я уже приводилъ (§ 39) остроумнѣйшую шутку Владиміра Соловьева — русскій матеріализмъ и „нигилизмъ“ говоритъ: „человѣкъ про-

исходить от обезьяны, следовательно, положимте душу нашу за други наши“. Про русско-марксистскій „экономическій материализмъ“ можно сказать въ томъ же родѣ: „все въ исторіи дѣлается по побужденіямъ экономическимъ, все въ жизни есть борьба интересовъ, следовательно, мы, ничего общаго не имѣющіе съ тѣми интересами, за которые ратуемъ, давайте доставимъ имъ торжество и побѣду“.

Въ сферѣ художественной литературы наиболѣе яркое выраженіе марксизмъ получилъ въ рассказахъ и драмахъ Максима Горькаго. Но въ чемъ, помимо, конечно, колоритнаго таланта, главная причина его успѣха?

Заражала его гордая вѣра въ силу и значеніе личности, отразившая въ себѣ одинъ изъ знаменательнѣйшихъ переворотовъ русской общественной психологіи. Горькій создавалъ свѣжее, бодрое настроеніе, манящее къ тому, чтобы отстоять свое я, не дать злу міра поглотить себя, сбросить ту апатію, которою характеризуется унылая полоса 80-хъ годовъ. Нельзя отрицать, конечно, что Горькаго связываетъ съ теоретическимъ марксизмомъ отсутствіе той несомнѣнно-барской сентиментальности, изъ которой исходило прежнее народолюбіе. Пѣвецъ грядущаго торжества пролетаріата ни мало не желаетъ апеллировать къ старонародническому чувству состраданія къ униженнымъ и оскорбленнымъ. Предъ нами настроеніе, которое само собирается добыть себѣ все, что ему нужно, а не выклянчить подачку. Одна ли борьба классовъ и борьба интересовъ одушевляетъ, однако, Горькаго, какъ и весь російскій марксизмъ вообще, провозвѣстники котораго почти сплошь—все тѣ же представители „командующаго класса“, усиленно озабоченные полнымъ лишеніемъ себя всяческихъ правъ и преимуществъ? Для однихъ ли пролетаріевъ имѣетъ значеніе знаменитое изреченіе мнимаго циника Сатина: „Человѣкъ—это звучитъ гордо?“

Яркое сознаніе личности вообще, независимо отъ ея социальнаго положенія, составляетъ тотъ Leitmotiv, который проходитъ чрезъ всю литературную дѣятельность Горькаго. А затѣмъ столь же важно для характеристики Горькаго и то, что сознаніе личности тѣснѣйшимъ образомъ связано въ немъ съ тѣмъ же русскимъ общеинтеллигентскимъ и уже, конечно, весьма мало „разумнымъ“ стремленіемъ къ самымъ

отдаленнымъ и утопическимъ идеаламъ. Устами актера изъ „На днѣ“ Горькій съ упоеніемъ повторяетъ стихи:

Честь *безумцу*, который навѣтъ
Человѣчеству сонъ золотой.

И въ общемъ, всею совокупностью своей общественно-политической и литературной дѣятельности, Горькій входитъ въ исторію литературы какъ человѣкъ, который пропѣлъ, говоря другою цитатою изъ него же, могучую пѣснь „*безумству храбрыхъ*“. То-есть предъ нами опять тотъ призывъ къ подвигу, который искони составляетъ основную черту новой русской литературы.

§ 52. Эволюція модернизма.

Почти одновременно съ марксизмомъ родились декадентство, символизмъ и вообще „модернизмъ“.

Судьбы русскаго модернизма очерчены въ предыдущемъ этюдѣ „Побѣжденные или побѣдители?“, гдѣ я указываю, что модернизмъ пережилъ два фазиса, ничего общаго между собою не имѣющихъ. Въ первомъ, реакціонномъ періодѣ, русскій модернизмъ былъ подголоскомъ Побѣдоносцевщины по преимуществу. Онъ старался свернуть русское общественное сознаніе съ его основного пути беззавѣтнаго исканія правды, затушить тоску по подвигу, которая придаетъ такую бессмертную красоту лучшимъ созданіямъ русскаго слова. Новая русская литература, — скажу еще разъ, — всегда была храмомъ, въ которомъ пѣлись священные каноны. А декадентство пыталось создать апоэозъ эгоизма, пыталось себялюбивое наслажденіе жизнью прикрыть флагомъ чисто-созерцательнаго „идеализма“ и бездушнаго поклоненія принципу „красоты“.

Къ счастью, это длилось недолго. Теперешній модернизмъ, съ его склонностью останавливаться, главнымъ образомъ, на *трагической* сторонѣ жизни, этимъ самымъ категорически отказался отъ того, что дѣлало ненавистнымъ равнодушное къ страданію декадентство. Теперешній модернизмъ, который поэтому я и предлагаю назвать модернизмомъ *синтетическимъ*, — есть направленіе, соединившее въ себѣ основное зерно

исконныхъ, героическихъ традицій русской литературы съ естественнымъ исканіемъ новыхъ литературныхъ формъ.

Къ тому, что сказано въ этюдѣ „Побѣдители или побѣжденные“ о полномъ перерожденіи первоначальнаго декадентства, о полномъ отказѣ отъ недавняго призыва къ „изыщному“ наслажденію жизнью, о превращеніи недавнихъ апологетовъ самодержавія въ пламенныхъ провозвѣстниковъ соціальной реформы и убѣжденнѣйшихъ противниковъ буржуазнаго строя—я считаю важнымъ прибавить указаніе на одну характернѣйшую формулу, выдвинутую модернизмомъ въ послѣдніе 2—3 года. Я говорю о подзаголовкѣ „творимая легенда“, которую Сологубъ прибавилъ къ своимъ „Навѣимъ чарамъ“. Легенда творится сознательно потому, конечно, что тоскующій писатель хочетъ совершенно уйти изъ подъ власти обыденщины. Если даже для такого недавняго пѣвца жизненныхъ радостей, какъ Мережковскій буржуазное благополучіе стало неприемлемымъ, то въ еще несравненно-большей степени неприемлемъ буржуазный міръ для Сологуба. Правда, онъ не приемлетъ никакого міра вообще. Вѣчный сумракъ царитъ въ творческой душѣ Сологуба, и ни одинъ лучъ солнца не освѣщаетъ это подземелье; и лирика, и проза Сологуба часто прямой гимнъ смерти. Послѣдніе годы инстинктъ жизни указалъ ему нѣкоторый выходъ въ „творимой легендѣ“, въ уходѣ мечтою на звѣзду Моиръ и въ сказочную страну Ой-лэ. Но отъ этого не измѣняется, конечно, самый фактъ, что одинъ изъ крупнѣйшихъ талантовъ современности, въ той или другой формѣ, но неустанно и категорически зоветъ русскаго читателя прочь отъ обыденщины, которую онъ себѣ рисуетъ только въ страшномъ обликѣ передонощины.

Недалеко отъ звѣзды Моиръ и страны Ой-лэ витаетъ визионеръ Александръ Блокъ, рыцарь созданнаго имъ культа невѣдомой Прекрасной Дамы. Уже это одно дѣлаетъ для него неприемлемымъ буржуазную обыденщину. Ее же не приемлетъ и Андрей Бѣлый, талантъ странный и едва ли не спорный, но безусловно искренній. Не приемлетъ, конечно, буржуазнаго благополучія и столь авторитетный въ модернистскихъ кружкахъ Вячеславъ Ивановъ, съ его хотя и „мистическимъ“, и весьма безвреднымъ, но всё же „анар-

хизмомъ“. Не только не приѣмлетъ современнаго уклада жизни, но и буйно воюетъ съ нимъ самый крупный поэтъ модернизма Бальмонтъ. Брюсовъ — другой крупный поэтъ модернизма—по темпераменту парнасець. Онъ не боець, не отрицатель par excellence. Но и онъ, какъ мы знаемъ, пережили капитальную эволюцію, и отрѣшившись отъ дешеваго декадентства, между прочимъ, первый въ русской литературѣ создалъ поэзію города, понялъ поэзію труда и много отдалъ времени переводамъ социалиста Верхарна. Во всякомъ случаѣ, Брюсовъ ни въ какой степени не приѣмлетъ, конечно, буржуазной размѣренности. Не составляютъ исключенія въ общей антибуржуазной окраскѣ современнаго русскаго модернизма писатели-модернисты, дарованіе которыхъ ясно обозначилось только въ самые послѣдніе годы—Борисъ Зайцевъ, Сергѣевъ-Ценскій, Ремезовъ.

Эта неприѣмлемость міра, присущая всему русскому модернизму въ его современномъ фазисѣ, несомнѣнно, тѣсно роднитъ его съ общимъ героическимъ характеромъ новой русской литературы. Пусть модернизмъ и не зоветъ прямо къ подвигу, какъ та литература, которая создалась на непосредственномъ усвоеніи завѣтовъ Бѣлинскаго. Все равно—онъ создаетъ героическую атмосферу въ смыслѣ полного презрѣнія къ мѣщанскому счастью.

Для занимающаго въ модернизмѣ особую позицію Леонида Андреева не только буржуазная жизнь неприѣмлема, для него неприѣмлема жизнь вообще. Она ему представляется сплошнымъ кошмаромъ. Но въ послѣдніе годы въ мрачномъ творчествѣ Андреева ярко сказались и опредѣленные просвѣты. Захватываетъ его все болѣе и болѣе идея подвига, какъ начала разрѣшающаго загадку жизни. Я уже указывалъ въ § 26 на удивительный „Разсказъ о семи повѣшенныхъ“, гдѣ такимъ поистинѣ лучезарнымъ свѣтомъ обвѣяна психологія подвига, указывалъ особенно на „Тьму“, въ которой полнота идеи подвига доведена до послѣдняго предѣла, до „преувеличенной филантропіи“.

Впрочемъ, вѣдь и вся-то, вообще, русская литература, строго говоря, есть не что иное какъ „преувеличенная филантропія“.

И Андреевъ идетъ все дальше по пути этой „преувели-

ченной филантропіи“. Онъ уже находитъ пути оправданія даже для Іуды, онъ уже создалъ въ „Анатэмѣ“ тоскующаго по правдѣ дьявола.

§ 53. Походъ „Вѣхъ“ противъ интеллигенціи.

Года два тому назадъ, я на „преувеличенной филантропіи“ Андреева могъ - бы закончить свой обзоръ, имѣвшій цѣлью схватить общій тонъ новѣйшей русской литературы, указать ключъ, въ которомъ написана эта въ полномъ смыслѣ слова „Symphonia Negroica“.

Но теперь я обязанъ коснуться одного самоновѣйшаго факта литературной жизни, того поразительнаго по своей неожиданности нападенія на русскую интеллигенцію, которое именуется московскимъ сборникомъ „Вѣхи“ (1909). Цѣлая компанія ученыхъ и даровитыхъ писателей, между которыми имѣются такіе безусловные искатели истины, какъ П. Б. Струве и М. О. Гершензонъ, такіе религіозные въ лучшемъ смыслѣ слова мечтатели, какъ С. Н. Булгаковъ и рядъ другихъ, безусловно искреннихъ людей, съ небывалымъ озлобленіемъ, съ какою-то, прямо можно сказать, яростью напустились на русскую интеллигенцію и ея представительницу—литературу.

И если одна часть „вѣхистовъ“ упрекала русскую интеллигенцію и русскую литературу только въ чрезмѣрномъ увлеченіи „политикой“, въ томъ, что общественность отодвинула у насъ на второй планъ „болѣе важныя“ и „вѣчные интересы“ религіозные и эстетическіе, то другая часть нападокъ шла и по другому направленію. Рядомъ съ упреками въ чрезмѣрномъ увлеченіи идеею подвига и нежеланіи мирно и культурно работать, въ „Вѣхахъ“ можно найти и изступленныя нападки на черты всего менѣе героическаго характера, вплоть до нечистоплотности тѣлесной и крайней неряшливости въ денежныхъ дѣлахъ.

Попробуемъ, однако, разобраться въ этой неожиданной атакѣ, которая получила достойную кару въ томъ, что ее восторженно привѣтствовали такіе носители свѣта, какъ архіепископъ волинскій Антоній и Пуришкевичъ, и такіе сборники правды, какъ сотрудники „Новаго Времени“. Попро-

буемъ отдѣлить въ „Вѣхахъ“ то, что въ нихъ не заслуживаетъ никакого уваженія и то, къ чему мы обязаны отнестись съ уваженіемъ безусловнымъ, потому что передъ нами крикъ души.

Не заслуживаетъ никакого уваженія фактическая часть нападокъ „Вѣхъ“—указанія ихъ, что рядомъ съ чертами высокаго героизма эта русская интеллигенція изъявлена недостатками крайне несимпатичными и некультурными. И вовсе не потому не заслуживаютъ уваженія эти нападенія, что они не вѣрны и совершенно выдуманы. А не имѣетъ это никакого значенія потому, что люди приступили къ переоцѣнкѣ безъ мѣрила. Всякая вещь познается только сравненіемъ. Что сказали-бы вы про человѣка, который, приглядѣвшись къ высочайшей горѣ на земномъ шарѣ — Давалагири, сказалъ-бы: да, высока-то она высока, а, все-таки въ ней только 8 верстъ. Слѣдовало-бы ей упираться въ самое небо, и чтобы было въ ней не 8 верстъ, а примѣрно верстъ 28.

Въ мірѣ нравственнаго совершенства русская интеллигенція и ея выразительница — литература есть Давалагири. Всюду, конечно, есть герои и патріоты въ истинномъ и наивысшемъ смыслѣ этого слова, т. е. люди, не только любящіе родину, но и готовые жертвовать всѣми своими личными интересами для блага ея. Во всѣхъ странахъ, несомнѣнно, свобода завоевывалась цѣною великихъ жертвъ и героическаго энтузіазма. Но въ Европѣ эта борьба шла на людяхъ, а на людяхъ, какъ извѣстно, и смерть красна. Въ Европѣ культура и съ нею освобожденіе духа нарастали равномѣрно и постепенно, не было этого чрезмѣрнаго переростанія интеллигенціи, какъ у насъ, не было глубокой пропасти между общимъ низкимъ уровнемъ культуры страны и необыкновенною высотой духа интеллигенціи. Поэтому европейскую борьбу за свободу можно сравнить съ обыкновенною войною. Всякая война рождаетъ героевъ, но это геройство массовое и потому заражающее. А русское геройство, до недавняго времени, было геройствомъ въ одиночку, геройствомъ отдѣльныхъ, не поддержанныхъ широкимъ сочувствіемъ вспышекъ, геройствомъ по знакомому уже намъ опредѣленію Полонскаго, „безъ надеждъ впереди“. И вотъ почему всякій безпристрастный историкъ въ отвѣтъ на нападки

„Вѣхъ“ долженъ сказать: ужъ если русская интеллигенція плоха, то гдѣ же въ мірѣ есть болѣе высокая духомъ, болѣе самоотверженная, болѣе отметающая все мелкое и пошлое интеллигенція, чѣмъ русская? Развѣ это громкая фраза, если сказать, что вся исторія оппозиціонной русской интеллигенціи есть одинъ сплошной мартирологъ? Всякая сколько-нибудь безпристрастная оцѣнка героическаго подвижничества русской интеллигенціи должна заканчиваться возгласомъ: да здравствуетъ великая, безпримѣрная въ своемъ, всегда обреченномъ на гибель, героизмѣ и потому святая русская интеллигенція, на своихъ плечахъ вынесшая и русскую культуру, и, прежде всего, великую русскую литературу! Всякое иное отношеніе, всякое копаніе въ неизбѣжныхъ мелкихъ недостаткахъ, чему съ такимъ наслажденіемъ отдались сотрудники „Вѣхъ“, есть черная неблагодарность.

Но предоставляя себѣ, такимъ образомъ, право отнестись безъ всякаго уваженія къ „Вѣхамъ“ въ той ихъ части, гдѣ онѣ даютъ фактически-невѣрныя оцѣнки, я, однако, претендуя на титулъ безпристрастнаго историка, обязанъ отнестись съ полнымъ уваженіемъ къ другой части сборника, къ той, гдѣ выдвинута положительная часть міровоззрѣнія „вѣхистовъ“, гдѣ они даютъ свой идеаль.

Такимъ зерномъ настроенія „Вѣхъ“ мнѣ представляется призывъ къ самоуглубленію, къ работѣ надъ собственной личностью. Нечего все валить на „политику“, надо самимъ „усовершенствоваться“, — вотъ къ чему насъ приглашаютъ „Вѣхи“.

Понятно, почему и этотъ призывъ „Вѣхъ“ страшно озлобилъ критику. Усовершенствоваться! Тутъ тебѣ генералы Толмачевъ и Думбадзе, а ты углубляйся въ самого себя.

Но это, однако, точка зрѣнія сегодняшняго дня. Историка предоставляется смотрѣть немного подальше.

А прежде всего историка вмѣняется въ обязанность привести всякое явленіе въ генетическую связь съ прошлымъ.

И удивительная вещь: какъ только вы, анализируя историко-литературное значеніе „Вѣхъ“, становитесь на такую

единственно-научную, генетическую точку зрѣнія, — совершается своего рода чудо: „Вѣхи“ не только не являются тогда рѣжущимъ ухо диссонансомъ, а напротивъ того—входятъ, какъ органическое звено, въ общій призывъ русской интеллигенціи и русской литературы къ подвижничеству. Углубить свое самосознаніе, работать надъ своею личностью—позвольте, господа, да вѣдь это страшно-знакомые звуки, вѣдь мы тутъ встрѣтились со старою, старою знакомою—съ „критически-мыслящей личностью“ Лаврова (§ 34), которая въ свою очередь только въ научной формѣ повторяла то, къ чему призывалъ Бѣлинскій (§ 40). И Лавровъ, и „Вѣхи“ совершенно одинаково все сводятъ къ самосознанію личности, одинаково вваливаютъ на личность всю тяжесть всемірно-историческаго процесса!

Когда Лавровъ создавалъ свою теорію „критически-мыслящей личности“, онъ далеко не предвидѣлъ всего того, къ чему привело логическое развитіе его ученія, вкупѣ, конечно, съ російскою дѣйствительностью. Съ „Вѣхами“ можетъ выйти то же самое. Я не сомнѣваюсь, что при сколько-нибудь дѣйствительно серьезной работѣ надъ углубленіемъ самосознанія, всякая дѣйствительно самоуглубившаяся душа придетъ къ такимъ выводамъ, о которыхъ всего менѣе думали иные вдохновители „Вѣхъ“ изъ раскаявшихся марксистовъ. Я вѣдь предполагаю, конечно, что самоуглубляться будутъ души серьезно ищущія. Въ какой-то переводной книгѣ XVIII вѣка говорилось, что у дикарей хотя и есть душа, но „видомъ малая и не безсмертная“. Полагаю, что не такія „видомъ малыя и не безсмертныя“ души улавливаютъ „Вѣхи“, а души настоящія. И вотъ я спрашиваю: когда начитавшаяся „Вѣхъ“ и дѣйствительно чуткая душа достаточно самоуглубится и выработаетъ себѣ міросозерцаніе, что она съ нимъ будетъ дѣлать? Удовольствуется однимъ сознаніемъ достигнутаго совершенствованія, или сквозь призму этого своего углубленнаго и усовершенствованнаго міросозерцанія начнетъ разсматривать окружающую дѣйствительность? А можетъ быть не только потщится разсматривать, но и постарается занять опредѣленную позицію въ жизни?

И вотъ, какъ только та чуткая душа, за которою гонятся „Вѣхи“, отъ созерцанія переходитъ къ дѣйствованію, — кон-

чилось ея отличіе отъ обычной русской интеллигентской души.

Сможетъ ли она остаться глухой къ призыву „иди къ обиженнымъ, иди къ униженнымъ?“ Думаю, къ ея чести, что никакъ не сможетъ. А разъ не останется глухой, разъ пойдетъ туда, „гдѣ плохо дышится, гдѣ горе слышится“, — то какъ же ей уберечься отъ общихъ всей русской интеллигенціи „путей тернистыхъ“, которые приводятъ туда, куда они уже привели и Чернышевскаго, и Короленку, и прочихъ безчисленныхъ подневольныхъ сибирскихъ этнографовъ?

А посему я по совѣсти не могу не признать жаждущую совершенства душу „Вѣхъ“ родной сестрой „критически-мыслящей личности“ Лаврова и ихъ обѣихъ родными дочерьми великой русской тоски по правдѣ. А гдѣ тоска по правдѣ, тамъ уже неизбежно и подвижничество.

§ 55. Трагизмъ жизни въ пониманіи русскомъ и западно-европейскомъ. Великая печаль литературы русской.

Въ цѣляхъ отгѣненія основной мысли настоящей книги, закончу ее, по необходимости весьма краткимъ, отвѣтомъ на одинъ весьма сложный вопросъ, который мнѣ не разъ задавали слушатели въ тѣхъ собраніяхъ, гдѣ мнѣ приходилось сообщать изложенныя здѣсь мысли. Меня спрашивали: считаю ли я отмѣчаемую мною героическую окраску спеціальною особенностью именно русской литературы? Вѣдь и въ новѣйшей западно-европейской литературѣ идетъ борьба съ пошлостью, и соотвѣтственно этому европейскій модернизмъ, напр., по преимуществу стремится къ тому, чтобы изображать трагизмъ жизни. А трагическое и героическое пониманіе жизни, конечно, очень родственны.

Сколько-нибудь обстоятельный отвѣтъ повелъ бы насъ чрезвычайно далеко. Пришлось бы вернуться къ впечатлѣніямъ Герцена, который, окунувшись съ головой въ море европейской жизни, приглядѣвшись вплотную къ торжеству европейскаго мѣщанства, пришелъ къ убѣжденію, что есть какая-то особенная русская психологія, при всемъ своемъ „варварствѣ“ полная неотразимаго обаянія и несомнѣнно высокооригинальная. Пришлось бы указать на демократиче-

ское „народничество“ 70-х годовъ, съ его мистическою увѣренностью, что общинно-артельныя „особенности“ русскаго народа помогутъ ему избѣгнуть мрачныхъ послѣдствій европейскаго капитализма и т. д., и т. д.

Все это, повторяю, завело бы насъ чрезвычайно далеко, и потому я ограничусь ссылкой на общее стремленіе настоящей книги. Оно сводится къ тому, чтобы установить, что особенности русской политической жизни, сосредоточивъ въ умахъ и сердцахъ вольнолюбивой интеллигенціи нашей все то доброе, что кроется въ русскомъ національномъ гени, тѣмъ самымъ сообщили русской интеллигенціи особенную напряженность духовно-правственныхъ порывовъ. Совершенно несомнѣнно, что по безкорыстію своихъ стремленийъ русская интеллигенція и, слѣдовательно, ея выразительница — литература нравственно выше интеллигенціи европейской, которая привыкла къ тому, чтобы ея стремленія получали быстрое практическое примѣненіе и скорую земную награду. Одно нравственнаго удовлетворенія отъ сознанія высоты подвига ей мало.

И вотъ, переходя къ сравненію русскаго героическаго міропониманія съ тѣмъ поворотомъ отъ литературнаго реализма къ литературному идеализму, къ трагическому освѣщенію жизни, который наблюдается въ европейской литературѣ послѣднихъ 25—30 лѣтъ, намъ не трудно установить коренную разницу. Въ чемъ сущность выясняемаго новою европейскою литературою трагизма жизни?

Единственно въ томъ, что этотъ трагизмъ угрожаетъ благополучію индивида. Человѣкъ окруженъ невидимыми опасностями, смерть стережетъ его на всѣхъ путяхъ, пошлость убиваетъ красоту, которая такъ нужна эстетически-настроеннымъ людямъ, наконецъ условность стѣсняетъ личность. Такимъ образомъ та часть европейской литературы, которая особенно гордится своимъ разрывомъ съ обыденщиной, только тѣмъ и занимается, чтобы выдвинуть личность, личность и личность, ея права, ея желанія, ея право стать абсолютно свободной, абсолютно самоцѣльной. Но это не личность въ русскомъ пониманіи, это не то освобожденіе *чужой* личности, за которое борется русская литература, не та личность, къ которой Бѣлинскій обратился съ пламеннымъ призывомъ:

„отрекись от себя, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья других“, не та личность, которую Лавровъ вознесъ такъ высоко, но только для того, чтобы и обязанности высокія и многотрудныя на нее возложить. А западно-европейское отстаиваніе личности какъ разъ въ томъ и состоитъ, чтобы освободить ее отъ какихъ бы то ни было обязанностей. И потому, грубо выражаясь, это — эгоизмъ, и только изъ вѣжливости можно говорить объ „индивидуализмѣ“. Чѣмъ европейскій „индивидуализмъ“ и отвращеніе отъ обыденщины сказались даже въ самомъ высокомъ изъ своихъ проявленій — въ творчествѣ Ибсена? Я уже не буду говорить о ломакѣ Геддѣ Габлеръ, для удовлетворенія эстетизма которой другіе (не она!) должны красиво умирать. Но даже Нора, симпатичная Нора, несомнѣнная избранница духа, которой дѣйствительно должно быть такъ нестерпимо въ тѣсныхъ рамкахъ мѣщанской условности и трусливости, — развѣ она свое „освобожденіе“ не поставила выше своего долга? Она вѣдь бросаетъ во имя идеи свободы личности не только пошляка-мужа, на что, конечно, имѣетъ полное право, но и дѣтей, на что уже никакого права не имѣетъ. Можно, конечно, найти смягчающія обстоятельства для ея вины, но это все-таки вина. Съ другой стороны, Ибсеновскій Брандъ есть воплощеніе идеи самаго неумолимаго исполненія долга. Но это ригоризмъ чисто-индивидуалистическій, потому что въ немъ нѣтъ ни капельки реального состраданія къ ближнему, это какое-то сухое, разсудочное, математическое рѣшеніе моральной задачи, въ которомъ всякая живая человѣчность совершенно исчезла. Это героизмъ ради героизма, во имя удовлетворенія самого себя. Несомнѣнно, героическая натура и докторъ Штокманъ, но какимъ ужасомъ вѣсть отъ этого опять-таки чисто-индивидуалистическаго героизма, отъ общаго смысла пьесы, которую никакъ иначе, какъ человѣконенавистнической, не назовешь, отъ страшныхъ заключительныхъ словъ Штокмана: счастье въ томъ, чтобы быть одинокимъ.

А вотъ русскій интеллигентъ и отраженіе лучшихъ сторонъ его духа — русская литература и представить себѣ не могутъ какого-нибудь душевнаго удовлетворенія внѣ жизни общественной и внѣ подвига общественнаго. Русскому ин-

На стра-
даніи, по-
днее заду-
мать, ра-
монно
спра-
дливъ

теллигенту и счастья-то личного не нужно, онъ его стыдится и отметааетъ, когда оно не связано съ счастьемъ другихъ. Я, я, я—вотъ общій смыслъ европейскаго индивидуализма и эстетизма. Не я, не я, не я—вотъ основная черта подоплека новой русской литературы на всемъ ея протяжении. Я началъ свой обзоръ лозунговъ разныхъ періодовъ новой русской литературы съ возгласа Бѣлинскаго: „отрекись отъ себя“ и могъ кончить Андреевскимъ требованіемъ отречься отъ какихъ-либо привилегій даже въ собственномъ сознаніи героя.

*Я, и
права
исиди и
тѣмъ
все лучше*

И въ этой безграничности самопожертвованія — закончу тѣмъ-же, съ чего началъ — центральный нервъ русской литературы. Въ этомъ источникъ ея обаянія, въ этомъ законнѣйшая гордость русскаго духа. Увы, еще не стало анахронизмомъ знаменитое изреченіе славянофила Хомякова, не убоившагося сказать про Россію, что она „неправды черной“ и „всякой мерзости полна“. Но тѣмъ лучезарнѣе на этомъ фонѣ выступаетъ русская литература, съ ея безгранично-высокими идеалами, съ ея неустанной борьбой за правду-справедливость — въ формѣ ли прямого призыва къ подвигу, въ формѣ ли ухищренія отъ зла міра, въ формѣ ли тоски вообще, но тоски творческой. Творческой потому, что Великая Печаль русской литературы, которая находится въ такой органической связи и съ тихою грустью русскаго пейзажа, и съ заунывной пѣсней русской, „подобной стону“, и съ стремленіемъ „простого народа“ къ „матери-пустыни“, была не только печалью, не только уныніемъ. Говоря стариннымъ выраженіемъ, Печаль русской литературы была всегда и Печалованіемъ, т. е. дѣятельною любовью и дѣятельною заботою объ униженныхъ и оскорбленныхъ.



КРИТИКО - БІОГРАФІЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХЪ.

С. А. Венгерова.

Первые IV тома Словаря составлены въ алфавитномъ порядкѣ (Ааронъ-Богдановичъ и во II отдѣлѣ IV тома Вавиловъ-Введенскій). Они состоятъ изъ краткихъ замѣтокъ о писателяхъ, отмѣченныхъ лишь ради полноты, или (если они наши современники) недостаточно еще опредѣлившихся, и изъ пространныхъ этюдовъ и монографій о писателяхъ, имѣющихъ литературное или ученое значеніе. Начиная съ V тома, Словарь превратился въ историко-литературный сборникъ, дающій внѣ алфавитнаго порядка разнаго рода статьи и матеріалы о русскихъ писателяхъ и ученыхъ. Матеріалы эти подчасъ состоятъ изъ указаній въ нѣскольکو строкъ, но часто даютъ и исчерпывающія изслѣдованія. Съ VI тома началось печатаніе обширнаго автобіографическаго архива, собраннаго составителемъ. Чтобы придать Сборнику своего рода законченность, въ концѣ каждаго тома, начиная съ V-го, приложенъ указатель ко всему изданію.

Кромѣ составителя въ Словарѣ приняты участіе слѣдующія лица: проф. В. Н. Александренко, проф. П. П. Алексѣевъ, проф. А. С. Архангельскій, проф. Д. И. Багалъ, ген.-лейт. П. О. Бобровскій, прив.-доц. В. В. Бобылинъ, проф. А. И. Бодуэнъ-де-Куртенеъ, акад. И. П. Бородинъ, проф. А. К. Бороздинъ, В. Θ. Боцяновскій, Л. М. Брамсонъ, проф. Э. К. Брандтъ, А. И. Браудо, проф. А. Н. Бекетовъ, акад. К. П. Бестужевъ-Рюминъ, проф. С. К. Буличъ, Н. Ф. Бунаковъ, проф. Н. П. Вагнеръ, прив.-доц. Э. А. Вольтеръ; акад. В. Г. Васильевскій, проф. А. В. Васильевъ, акад. В. П. Васильевъ, В. В., Зинаида Венгерова, проф. Н. В. Веселовскій, П. П. фонъ-Винклеръ, проф. В. В. Витковскій, проф. П. В. Владиміровъ, В. Водарскій, прив.-доц. Г. М. Герценштейнъ, проф. Н. Х. Гоби, прив.-доц. М. Ю. Гольдштейнъ, В. А. Гольцевъ, Л. О. Гордонъ, Б. М. Городецкій, М. И. Городецкій, Г. А. Джаншиевъ, проф. И. М. Дюель, проф. В. С. Иконниковъ, В. С. Карцовъ, проф. Н. И. Карцевъ, проф. А. И. Куртичниковъ, проф. Максимъ Ковалевскій, проф. Н. О. Ковалевскій, Л. Н. Колубовскій, Н. П. Колупановъ, проф. Д. А. Корсаковъ, С. К. Костинскій, В. М. Латышовъ, В. В. Лесевичъ, проф. П. Ф. Лесгафтъ, проф. И. В. Луцкиій, А. Г. Ляшенко, М. Н. Мазяевъ, М. М. Мариолинъ, проф. П. М. Меліоранскій, проф. М. А. Мензбиръ, М. О. Меньшиковъ, проф. Н. А. Меншуткинъ, проф. П. Н. Милуковъ, проф. Θ. Г. Мищенко, проф. В. И. Модестовъ, проф. С. А. Муромцевъ, проф. П. В. Мушкетевъ, Л. Е. Оболенскій, акад. С. Θ. Олденбургъ, прив.-доц. П. В. Отоцкій, проф. В. Т. Собичевскій, проф. В. В. Папушинъ, проф. В. Н. Перетинъ, М. Л. Песковскій, А. Н. Петровъ, проф. Θ. Θ. Петрушевскій, проф. Е. А. Поссе, Э. Л. Радловъ, проф. П. Я. Розенбагъ, В. Е. Рудаковъ, В. И. Семевскій, Л. З. Слонимскій, Владиміръ Соловьевъ, В. Н. Сторожжевъ, проф. Н. Θ. Сумцовъ, А. А. Титовъ, Гр. Л. Н. Толстой, Н. М. Туниковъ, А. М. Уманскій, К. П. Храпавачъ, проф. С. И. Чиревъ, проф. А. Штукенбергъ, П. Е. Щеголевъ, Е. Н. Щенкина, проф. В. А. Яковлевъ, А. Е. Яновскій, А. В. Экземплярскій,

Цѣна I тома 5 р. 25 к., II тома 2 р. 25 к., остальные томы по 2 р. 50 к. безъ пересылки. Т. I отдѣльно не продается.

„Русская поэзія“.

Подъ ред. проф. С. А. Венгерова.

„Русская Поэзія представляетъ собою соединеніе значительнаго количества полныхъ собраній стихотвореній русскихъ поэтовъ съ пространною историко-литературною хрестоматією произведеній избранныхъ.

Главная цѣль изданія — историко-литературная полнота. Поэтому въ него, помимо поэтовъ первостепенныхъ, входятъ не только поэты второстепенные и третьестепенные, но даже и такіе, которые пользуются исключительно отрицательною извѣстностью, какъ напр., графъ Хвостовъ и др.

Полныя собранія даются: 1) для большинства поэтовъ классическихъ, составляющихъ эпоху въ исторіи русской литературы; 2) для поэтовъ второстепенныхъ, немного писавшихъ и полное собраніе стихотвореній которыхъ поэтому не объемисто; 3) для поэтовъ, произведенія которыхъ еще не были собраны или стали библиографическою рѣдкостью.

Вступительныя статьи составятъ собою собраніе — частью полностью, частью въ пространнымъ извлеченіи — лучшихъ (уже появившихся) статей о русскихъ поэтахъ. О каждомъ поэтѣ дается одна или двѣ статьи, объ остальныхъ статьяхъ, посвященныхъ данному поэту, упоминается въ библиографическихъ примѣчаніяхъ, съ передачею ихъ содержанія.

Содержаніе I тома: (Выпуски 1—6) Отдѣлъ I. Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ, Сумароковъ, Василій Майковъ, Костровъ, Петровъ, Хемницеръ, Херасковъ, Богдановичъ, Державинъ. Отдѣлъ II. (Стихотворенія писателей, посвятившихъ себя по преимуществу другимъ родамъ литературы и второстепенныхъ): Аблесимовъ, Барковъ, кн. Дашкова, Елагинъ, Капнистъ, Княжнинъ, Козодавлевъ, Львовъ, Муравьевъ, Николаевъ, Осиповъ, Поповскій, Радищевъ, Фонъ-Визинъ, Чулковъ. Отдѣлъ III. (Мелкіе поэты 18 вѣка, дополненія и примѣчанія). Здѣсь собрано почти все, что писано о поэтахъ 18 вѣка, даны библиографическія примѣчанія и приведены образцы стихотвореній Алексѣева, Балдани, Барсова, Болотова, Буслаева, Верещагина, Виноградова, Владыкина, Волкова, Голѣневскаго, Дмитріева-Мамонова, Домашнева, Дубровскаго, Екатерины II, Елизаветы Петровны, Зубовой, Ильинскаго, Княжиной, Козельскаго, Кондратовича, Котельницкаго, Теофила Кролика, Кузнецовой-Горбуновой, Леонтьева, Попова, Рубана, Сандуновой, Херасковой, Храповицкаго, Шувалова, Эмина, Теофана Прокоповича и др. (Цѣна 8 р.). *(Осталось небольшое количество экземпляровъ).*

Содержаніе 7 выпуска: полное собраніе стихотвореній Нелединскаго-Мелецкаго и Карамзина, ц. 1 р.

Съ требованіями обращаться: С.-Петербургъ, Поварской, 10. Книгоиздательство „Прометей“.

Полное собраніе сочиненій В. Г. БѢЛИНСКАГО.

Подъ редакціей и съ примѣчаніями проф. С. А. Венгерова.

Прекращеніе въ 1898 г. правъ литературной собственности на сочиненія Бѣлинскаго вызвало появленіе ряда разнаго объема собраній произведеній великаго критика. Достоинства ихъ различны. Есть такія, которыя мы готовы назвать кощунственными — такому измѣненію подвергся въ нихъ текстъ Бѣлинскаго. Нашлись, къ сожалѣнію, „систематизаторы“, которые (часто съ лучшими намѣреніями) выхватывали отдѣльныя страницы изъ разныхъ статей Бѣлинскаго и подгоняли ихъ подъ тѣ рубрики, которыя они произвольно устанавливали. Мы называемъ такое отношеніе кощунственнымъ, потому что всякая статья Бѣлинскаго есть одно органическое цѣлое, изъ котораго, какъ изъ пѣсни, какъ изъ стихотворенія, нельзя выкинуть ни одного слова, не лишивъ аромата, не ослабивъ внутренняго пламени, придающаго такое неотразимое обаяніе всему, что вышло изъ-

подъ пера великаго искателя истины. Бѣлинскій всегда писалъ статьи въ своего рода экстазѣ и выражалъ въ нихъ все то, что его въ данный моментъ мучило и волновало, хотя бы оно непосредственно къ предмету статьи и не относилось. Это несомнѣнно приводило и къ длиннотамъ, и къ отступленіямъ, которыя иному „систематизатору“ покажутся и лишними, и неидущими къ „дѣлу“, но именно эти-то „отступленія“, этотъ-то порывъ выразить всю полноту внутренней работы высокаго духа и великаго сердца и составляетъ сущность литературнаго значенія Бѣлинскаго, и кастрировать ихъ значитъ вынимать изъ его статей живую душу. Вотъ почему при желаніи издать *неполное* собраніе сочиненій Бѣлинскаго есть только одинъ способъ—давать избранныя статьи, но давать непремѣнно цѣликомъ. Такому условію вполнѣ удовлетворяють нѣкоторыя изъ появившихся въ 1898 году изданій, и нельзя не пожелать имъ самаго полнаго успѣха. Еще большаго сочувствія заслуживаетъ мысль издавать отдѣльныя статьи Бѣлинскаго и по дешевой цѣнѣ пускать ихъ въ большую публику.

Но рядомъ съ этимъ остается еще одна важная задача—надо дать изданіе удовлетворительное и *по полнотѣ*. Думали, что къ 26 мая 1898 г. появится рядъ изданій, по меньшей мѣрѣ столь же полныхъ, какъ основное 12-томное собраніе сочиненій, изданное въ 1859—61 гг. К. Т. Солдатенковымъ. Но эти ожиданія совершенно не оправдались, и всѣ изданія 1898 г. и позднѣйшія не выдерживаютъ никакого сравненія съ изданіемъ К. Т. Солдатенкова.

А между тѣмъ и это изданіе ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названо ни полнымъ, ни тщательно редактированнымъ. Въ немъ очень много пропусковъ, а помѣщенное часто урѣзано. Редакторъ изданія К. Т. Солдатенкова—покойный Н. Х. Кетчеръ—не только не бралъ всѣхъ статей Бѣлинскаго (онъ совсѣмъ не включилъ больше 400 небольшихъ отзывать), но и въ томъ, что бралъ, выбрасывалъ цѣлыя страницы и тирады. Въ особенности онъ былъ безжалостнымъ къ цитатамъ, которыя ему, очевидно казались лишнимъ балластомъ, хотя на самомъ дѣлѣ ничто такъ не содѣйствуетъ усвоенію мыслей критика, какъ удачно подобранныя выдержки. Немало статей осталось ему и совершенно неизвѣстными. Наконецъ, крупнѣйшимъ недочетомъ перваго собранія сочиненій Бѣлинскаго является то, что въ немъ совершенно нѣтъ одной изъ драгоцѣннѣйшихъ частей духовнаго наслѣдства Бѣлинскаго—его писемъ. Не стѣсняемый внѣшними соображеніями, Бѣлинскій въ письмахъ весь отдавался своему порыву и достигалъ силы изумительной. Въ письмахъ къ друзьямъ и въ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю Бѣлинскій поднимался до вершинъ воодушевленія и негодующаго краснорѣчія.

Указанные недочеты, оставляя въ сторонѣ разные недочеты второстепенные, ставятъ на очередь вопросъ объ изданіи полнымъ и удовлетворяющемъ требованіямъ историко-литературной обстоятельности, съ провѣреннымъ и полнымъ текстомъ, съ историко-литературными комментаріями, съ объясненіями непонятныхъ уже теперь намековъ и неясностей, съ указаніемъ литературы предмета, съ портретами, рисунками, снимками, съ подробными указателями встрѣчающихся именъ и затронутыхъ сюжетовъ. Настоящее изданіе есть попытка дать такое изданіе, достойное памяти великаго писателя.

Наше изданіе будетъ состоять изъ 12—14 томовъ журнальнаго формата и очень убористой печати въ 500 и болѣе страницъ въ каждомъ томѣ.

По приблизительному расчету вмѣсто 220 печатныхъ листовъ прежнихъ изданій въ нашемъ изданіи будетъ около 400.

Вышло 9 томовъ. Цѣна каждаго 1 руб. 75 коп. Подписка на 12 томовъ—20 р.

Съ требованіями обращаться по адресу: С.-Петербургъ, Невскій, 40, кв. 43. Т-во

„Общественная Польза“

КАМЫШЛОВСКИЙ
РАЙОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
№

St Petersburg
Lapponia
20/11-47
Hudobin
Bokov
General Subscribed

PCP

